ПАВЕЛ СЕВЕРНЫЙ

Урал-батюшка

Связанный гнев

Урал-батюшка

Павел Северный

Связанный гнев

«ВЕЧЕ»

1940–1960

Северный П. А.

Связанный гнев / П. А. Северный — «ВЕЧЕ», 1940–1960 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-8019-5

Павел Северный – известный русский писатель-эмигрант, автор более двадцати книг художественной прозы. Он родился в Российской империи и почти 35 лет прожил в Китае, заслужив славу одного из самых издаваемых и читаемых писателей русской эмиграции. Роман «Связанный гнев» восстановлен по практически утраченным источникам. Он приоткрывает читателю одну из интереснейших страниц отечественной истории: волнения на уральских золотых приисках в период между революциями 1905–1917 гг.

ISBN 978-5-4484-8019-5

© Северный П. А., 1940–1960
© ВЕЧЕ, 1940–1960

Содержание

Глава I 6
Глава II 18
Глава III 25
Глава IV 42
Глава V 51
Глава VI 63
Глава VII 74
Конец ознакомительного фрагмента. 78

Павел Александрович Северный
Связанный гнев

© Северный П.А., наследники, 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru

Глава I

1

На Урале в тысяча девятьсот седьмом году зима стояла уросливая[1]. В январе она совсем распоясалась и, высказывая свой норов, перемешивая буранную метельность с прихватами морозов, заставляла горнозаводской край коченеть в сугробных снегах…

Над Екатеринбургом в восьмом часу вечера висел обломок ущербной луны, промороженный стужей до хрустальной прозрачности, а от его тусклого света заволакивала дымка сероватой мглистости.

На Успенской улице, через дом от меблированных комнат Атаманова, в каменном доме во втором этаже по фасаду светились два окна.

В квартире господина Позднякова, преподавателя истории в женской гимназии, в столовой горела керосиновая лампа под пузатым абажуром из молочного стекла. В просторной комнате красивый узор обоев. Мягкая мебель, обитая золотистым плюшем. На столе, покрытом голубой клеенкой, – остывающий самовар, тарелки с кружочками чайной колбасы и ломтиками хлеба, в двух стаканах недопитый чай. На стене в большой темной раме олеография с картины Репина «Запорожцы», а над ней в золоченых рамах два портрета бородатых купцов с хмурыми взглядами.

За столом хозяин квартиры Семен Семенович и совершенно неожиданный для него гость – бывший слесарь Верх-Истетского завода Макарий Осипович Бородкин. Гость появился в квартире на исходе седьмого часа, и ему с первых минут встречи стало ясно, что своим приходом он озадачил, а вернее, просто перепугал Позднякова.

Семен Семенович действительно никак не ожидал увидеть у себя человека, которого еще совсем недавно по всей губернии искала полиция и жандармерия. У них для этого была причина. Бородкин – вожак заводской забастовки, в мае тысяча девятьсот пятого года счастливо избежавший ареста, – сумел вовремя скрыться за пределы Урала.

Поздняков полнотел. От увлечения курением надрывно кашляет. Его густые волосы на висках тронуты сединой. Сквозь стекла пенсне смотрят усталые, серые глаза. Он сидит за столом в форменном жилете с медными пуговицами. На плечах – женский пуховый платок. Перед приходом гостя лежал в кабинете на диване, читая журнал «Нива». Увидев в прихожей Бородкина, от растерянности позабыл платок снять. Позднякову за сорок, но из-за мелких морщин на лице и близоруких глаз он выглядит старше своих лет.

Бородкин тоже разменял четвертый десяток. В его русых волосах седины нет, но в опрятной бородке уже завелись сединки. Одет он в поддевку синего сукна поверх бордовой рубахи.

Хозяин пригласил гостя к столу и налил в стаканы чай. В доме только недавно почаевничали.

Разговор начали с замечаний о морозе, о сугробах на улицах. Долго не находилась мысль для плавного разговора. Бородкин заметил, что хозяин частенько посматривает на дверь, которая уже два раза слегка приоткрывалась, и чувствовалось, что за ней кто-то наблюдает за происходящим в столовой.

– Ваше появление, Бородкин, буквально фантастично! Вот смотрю на вас, разговариваю, а все еще не могу глазам поверить, что передо мной именно вы, а ни кто другой.

– И мне, Семен Семенович, радостно от встречи.

---

[1] Уросливая – капризная, своевольная (*обл.*).

– Как же нашли меня? Ведь за это время живу на третьем месте.

– Экая трудность отыскать человека в знакомом городе! Зашел в гимназию и узнал адрес.

– Были в гимназии? – с нескрываемым беспокойством спросил Поздняков.

– Вы оказались на уроке.

– Кто вас видел в гимназии?

– Да только швейцар. Никак, недовольны моим заходом?

– Видите ли… А впрочем – ерунда! Швейцар, конечно, вашему визиту не придал никакого значения.

– Кажись, понял вас. Значит, квартиры не зря меняли? И вас щекотала полиция. Но вы же хороший конспиратор.

– Да, пока Господь миловал. В этот район перебрался из предосторожности. Спокойный район. Вдобавок ко всему обрел устойчивую оседлость.

Заметив на лице гостя недоумение, Поздняков пояснил:

– Не понимаете, вижу? Сами знаете, уже не молод, а посему счел благоразумным обзавестись семьей.

– Поздравляю, Семен Семенович! Это хорошо! От души поздравляю!

– Спасибо!

– Надо полагать, супруга ваша тоже учительница?

– Нет. Вдова бездетная. Владелица сего доходного дома. Вот видите, стал женатым, хотя считался закоренелым холостяком. Но всякое бывает. Годы научили разуму. Захотелось уюта. Здоровье ослабло. Не по себе стало от одиночества.

– Курите лишку.

– Без табака трудно. Скверная, но закоренелая привычка.

– Опять же, кашляете.

– Кашляю, и, по мнению докторов, – нехорошо. Вы лучше скажите, что заставило вас обо мне вспомнить?

– Я вас никогда не забывал, Семен Семенович. Чать, это вы оказались для меня поводырем. Объявился в Екатеринбурге – и к вам. Но осмелился побеспокоить после того, как в Верх-Исетске не нашел никого из товарищей.

– Чего захотели? Завод после забастовки жандармы лихо перетрясли. Больше шестидесяти человек посадили на романовские хлеба за решетки. Из марксистского кружка, которым я руководил, на свободе, кажется, только один вы. Но имейте в виду, что вас искали с упорством. До сих пор не понимаю, как это вы избежали ареста!

– Верно, что чудом ушел от лап охранки!

– Был даже слух, что вас пристрелили в Лысвенском заповеднике. Видя вас сейчас перед собой, рад, что слух оказался глупостью. Да, время бежит, Бородкин. После вашего исчезновения прошло более полутора лет. Между прочим, ваш приятель Егоренко…

– Где он?

– В Сибири. Сослан на пять лет.

– Вот счастье, что жив мужик! Ссылку перетерпит да еще смелее станет.

– Где скрывались?

– Сначала у товарища в Мотовилихе, потом перебрался в Самару, а из нее был послан в Питер.

– Кем посланы? – спросил Поздняков и, выйдя из-за стола, плотно прикрыл створу двери.

– Партия послала.

– Понимаю. Чем в Питере занимались?

– С весны шестого года распространял по заводам газеты.

– Какие газеты?

– Сначала «Волну» и «Вперед», а потом «Эхо». Мне здорово повезло на этой работе. Представьте, посчастливилось повидать и даже поговорить с Лениным.

– Встречались с Ульяновым?

– Встречался и много раз. Владимир Ильич частенько бывал в редакции.

– Интересно, очень интересно. Просто удивительно. Вот и обо мне не забыли.

– О чем говорите, Семен Семенович? Как мог забыть вас! Вы же путь в партию указали.

– Большевиком стали?

– Большевик! Разве мог не стать им после встречи с Лениным! Расспрашивал он меня про наши уральские дела в пятом.

– Так. – Поздняков, сняв пенсне, шагая по комнате, долго протирал платком его стекла. – Стали большевиком? Не буду скрывать, что слышу об этом с прискорбием.

– Разве сами?..

Поздняков перебил Бородкина, повысив голос:

– Нет! Я верен Плеханову! Да, батенька, верен!

Наступило продолжительное молчание. Поздняков выпил из стакана остывший чай, закурил папиросу, прислонился спиной к печке. Бородкин сидел неподвижно, окаменев от признания Позднякова. По его спине пробегали мурашки озноба. Он был доволен тем, что не до конца откровенничал о своей работе в Петербурге. Поздняков заговорил полушепотом:

– Неужели думали, что я так легкомысленно поверю революционным фантазиям Ульянова? В моем понимании он всего-навсего – мечтатель, возомнивший себя способным создать свою партию. Как он называет ее – партия нового типа? А знаете, что насторожило меня против его идей?

– Что именно? – холодно спросил Бородкин, все еще не в состоянии справиться с охватившим его волнением.

– Уверенность Ульянова в силе рабочего класса. Он же уверен, что только рабочие способны стать вершителями русской революции. Это же утопия! Я оказался прав. Ульяновская самоуверенность стоила русской революции большой крови. Разве допустимо даже мечтать, что революция будет совершена руками рабочих без опыта, без мудрости интеллигенции? Только фантазер может лишать нас права на первенство, на главенство в свершении революции. Сказанное мною подтверждают события московского восстания, где рабочие показали себя не очень достойно, хотя были храбры и пролили совершенно напрасно кровь.

– Вините в этом рабочих?

– А кого же прикажете обвинять в провалах московского восстания?

– Меньшевистское руководство петербургского Совета, не оказавшего нужной и достаточной помощи. Троцкий и Хрусталев главные виновники восстания. Разве не по предложению Ленина Центральный комитет отдал приказание московскому комитету прекратить вооруженную борьбу, когда стало ясно, что перевес оказался на стороне царского правительства? Меня трудно обмануть. В то время я был в Питере.

– Да! Рассуждаете совсем по-большевистски.

– Горжусь, что хватило ума понять замысел Ленина о грядущей революции.

– Да будет вам! О какой грядущей революции помышляете? После такого сокрушительного разгрома ее первой попытки! Когда ожидаете новую революцию?

– В свое время. Ленин уверен в ее неизбежности.

– И свершит ее рабочий класс?

– Именно! Разум рабочих принесет России свободу.

– Неплохо заучили чужие мысли, не думая о том, что для того, чтобы рабочие осознали замысел Ульянова, понадобятся десятки лет. Понимаете, что нужно длительное время для того, чтобы рабочие России стали грамотными. Получили возможность хотя бы элементарно осмыслить предназначенное им Ульяновым право на первенство в деле свершения революции.

Неужели, в самом деле, не понимаете, что все это чепуха? Сами – рабочий! Знаете, как нелегко далась вам элементарная политическая грамота. Помог вам осилить ее премудрость я – интеллигент, а ваш Ульянов поучает вас об этом позабыть.

– Неправда!

– Дослушайте до конца! Мне кажется, что и себя, Бородкин, уже считаете способным быть профессиональным революционером, хотя очень неудачно показали свои силы во время забастовки. Вас смешно слушать, батенька! Вам же известно состояние рабочего класса на Урале. Известна его безграмотность и политическая слепота. На что способны уральские рабочие? На горластые забастовки, на вывозы на тачке неугодного начальства, на стрельбу по полиции, что равносильно стрельбе по воробьям. У рабочих нет единства, нет самого главного – единства, необходимого для осуществления революционных замыслов Ульянова, а потому мечты о монолитности большевиков – пока только беспочвенные мечты. Как создать единство рабочих в России, не мог решить еще сам Плеханов. Кроме того, не забывайте, что есть другие политические партии, у которых опять-таки свои пророки и прорицатели со своими идеями о революции. Единство надо завоевать!

– И большевики его завоюют, Семен Семенович! Неужели рабочие не поймут, что их единство – это верный путь к революции? А те, кто уверовал в замысел Владимира Ильича, должны воспитывать в товарищах уверенность в силе партии нового типа.

– Считаете себя способным воспитывать такую уверенность в рабочих Урала? А что станете делать, если встретитесь с рабочими, уверенными в мудрости Плеханова?

– Стану доказывать правоту большевиков.

– Ну что ж! За словом в карман не лезете. Как говорится: поживем – увидим! Только не обольщайтесь излишними надеждами. За время вашего отсутствия на Урале произошли кое-какие пренеприятные события. Охранка старательно проработала, выполов из числа уральских активистов лучшие силы, а всем остальным подрезала крылья. Мы здесь все на учете у жандармерии, а потому должны быть временно «верноподданными». Снова должен заметить, что ваше появление на Урале совсем небезопасно. Повторяю, что вас ищут и найдут! А потому, несмотря на отращенную бороду, пребывание ваше на свободе может оказаться недолговременным. Не пугайтесь! Говорю так откровенно, потому что меня с вами связала общая подпольная работа. Мне будет неприятно узнать о вашем аресте. Ибо уверен, что из столицы здесь появились с каким-то заданием. Меня оно сейчас не интересует. Кроме того, твердо убежден, что ваше временное заблуждение, ставшее следствием соприкосновения с видным революционером, скоро пройдет. Уверен, что и увлечение большевиками у вас исчезнет. Здесь вы скоро поймете, что фантазии Ульянова и действительность несовместимы, и тогда согласитесь со мной, что замыслы о партии нового типа – несерьезная политическая затея.

– Слушая вас, понимаю, Семен Семенович, что во все веру утеряли, но не могу понять, как это с вами случилось.

– Веру в кое-что я действительно потерял, ибо слишком действенна жандармерия и полиция. Я просто решил пока побыть от всего на стороне. Решил наблюдать. Ибо невозможно разобраться в действительном положении революционных течений в России после двух последних трагических лет.

– Подумать только. А ведь как мы все вам верили! Казались нам таким сильным…

– Ничего, батенька, сами скоро окажетесь в моем положении, когда столкнетесь с мешаниной политических идей в мозгах уральцев.

– Но не стану наблюдателем со стороны.

– Блажен, кто верует. Однако должен признать, что у вашего Ульянова удивительная решительность. Но для свершения революции по его рецепту ее недостаточно. Он уже мнит себя вождем большевиков? Хотя это простительно. Молод, самоуверен. Ему надо пожить, подумать, послушать других, приобрести опыт революционера.

– Владимир Ильич приобрел его в Шушенском. Читали его новые работы?

– Нет. В Сибири многие приобретали разные опыты, но толку из этого русскому народу пока не было. Каждый из них играет на своей флейте. Вот я и считаю категорически, что настало время всем причастным к революционным терзаниям трезво разобраться во всем и наново выбрать свою принадлежность к той или иной партии.

– Ленин это предвидел. Он был уверен, что после всех неудач из рядов партии уйдут люди, нестойкие в своих убеждениях.

– Позвольте, батенька! Не смеете считать меня нестойким в своих революционных убеждениях. Всегда был предан Плеханову и таким остался по сей день.

А вот вы, Бородкин… Впрочем, не будем об этом говорить. Ясно, что наши пути стали разными. Я предпочитаю трезвость разума велению и порывам всех остальных чувств. Жалею, что не сумел в вас укрепить преданность Плеханову.

Взглянув на настенные часы, Бородкин поднялся:

– Разрешите откланяться.

– Извините, что не предлагаю ночлег. Полиция взяла с жены подписку о том, чтобы никому не предоставлять в доме ночлега без ведома полицейского управления.

– Признаться, не собирался этим обременять.

– Как скоротаете ночь?

– Переночую на вокзале. Облик у меня купеческого приказчика.

– Облик у вас вполне благопристойный. А какой паспорт?

– Тоже благоприятный.

– Это хорошо. У нас по ночам у прохожих на улице спрашивают паспорта. Но вы достаточно опытны.

– Прощайте, Семен Семенович!

– А почему не до свидания? Мы снова скоро будем единомышленниками.

– Нет, Семен Семенович. За все прошлое благодарю. Немало узнал от вас дельного, но теперь единомыслия с вами не отыскать.

– Напрасно. Все же надеюсь, что наша встреча заставит вас подумать о дальнейшем пути. Лихом не поминайте! Жить в крае советую потихоньку, потому что старых друзей возле вас нет.

– Новых заведу. Не все же рабочие на Урале в кандалах?

– Действуйте осторожно, памятуя, что теперь столыпинские времена. В крае множество фальшивых революционеров. Охранка работает новыми способами.

– Счастливо оставаться.

– Деньги есть?

– Обеспечен.

– Если надумаете вновь навестить меня, прошу заранее предупредить, но в гимназию не заходите.

– Не беспокойтесь! Разве когда случайно свидимся.

Поздняков попрощался с гостем и проводил его до двери.

Выйдя из калитки на улицу, Бородкин огляделся по сторонам. Пустынно. Свет ущербной луны затеняли проплывавшие облака. Стало ветрено. По дороге стелились вычески поземки.

Бородкина, наконец, покинуло волнение, державшее его в напряжении во время всего разговора с Поздняковым. Он шел и думал, что долгожданное свидание оказалось таким ненужным, оставившим в сознании осадок сожаления. Когда-то это человек был совсем другим, что даже казался ему учителем, а теперь предстал жалким, растерянным, стремящимся скрыть растерянность утверждением о своей преданности меньшевикам. А ведь ясно, что сам от страха не предан больше революционным идеям, а весь во власти обывательского сытого покоя под теплым кровом жены, бездетной вдовы.

Окунувшись в раздумья, Бородкин не заметил, как дошел до перекрестка улиц и вздрогнул от вопроса:

– Ваше степенство! Не найдется ли папиросочки?

Бородкин остановился, смотрел на идущего к нему городового в тулупе.

– Не курю!

– Извиняйте за беспокойство в таком случае.

– Пожалуйста!

Перейдя улицу, Бородкин подумал, что встреча с городовым заставила его вздрогнуть, ибо слишком неожиданным был его вопрос.

Вскоре Бородкина нагнал извозчик, выкрикнув:

– Может, подвезу, барин? Топать-то студено!

– Подвезешь, – ответил Бородкин. Когда сел в санки, возница вновь спросил:

– В какое место везти?

– В любой надежный постоялый двор, где тараканы без бессонницы.

Извозчик после ответа довольно засмеялся:

– Веселый из себя барин! Одним духом доставлю к Захаровне на Сенной площади.

2

Барский дом промышленника Ореста Михайловича Небольсина в Екатеринбурге привлекал внимание своей архитектурой. Стоял он в тенистом парке, огороженном ажурными чугунными решетками, отлитыми на Каслинском заводе. В доме электричество. Перед парадным подъездом несколько троек, запряженных в ковровые кошевые[2]. Кучера грелись у костра, горевшего возле сторожки ночного караульного.

У промышленника гости. После обильного ужина с винами они в благодушном настроении перешли из столовой в круглую гостиную. В ней уютный полумрак.

Хозяин дома высокий, худощавый брюнет, в сюртуке, сшитом у столичного портного из модного сукна «маренго», плотно облегающим его элегантную фигуру. Небольсин – отпрыск дворянского рода с худой славой родителя-крепостника, оставившего на Урале о себе память тем, что еще в николаевские времена, обзаведясь заводом, перегнал из имений всех крепостных и торговал ими с большой прибылью, продавая живые души людской силы заводчикам и промышленникам. Сколотив завидное состояние, он под конец жизни впал в мистику, укрылся в монастыре и в конце прошлого века загадочно умер.

Небольсин-сын, как единственный наследник, получив отцовское состояние, поспешил расстаться с малодоходным заводом, продав его в казну, занявшись золотопромышленностью и делами, о которых старался умалчивать. Но в крае знали, что Небольсин был ростовщиком. Обладая связями в столице и Москве, он, прожив сорок пять лет, был холост, а о его мимолетных романах в Екатеринбурге было немало правдивых и выдуманных толков.

В этот вечер нужных горожан Небольсин собрал у себя по той причине, что, вернувшись на два дня из поездки в столицу, он надеялся через них распустить по городу необходимые ему слухи об увиденном и услышанном в Петербурге. Его выбор прежде всего пал на ключаря кафедрального собора протоиерея Иеронима, на золотопромышленника из купеческой среды Сосипатра Тетерникова, корни рода которого дали ростки в крае одновременно с появлением на Каменном поясе Никиты Демидова. Оба гостя видные фигуры в городе, ибо у них большое влияние на умы его обитателей. Под стать им и Аркадий Карпушин, купец первой гильдии. Он – признанный авторитет в торговом мире. Полицмейстер Отто Францевич Циглер. И крайне загадочная личность – Боголеп Рыжков. Загадочным человеком слыл он благо-

[2] Кошева, кошевая – широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами и т. п.

даря своей туманной биографии, в которой не было ясности о его происхождении. О Рыжкове можно разное услышать. Чаще всего, что родом он из крестьян, нажил капитал рудозанятием и перекупкой золота. И ходят о нем шепотки, что он незаконнорожденный сын видного столичного сановника, плод увлечения простолюдинкой во время краткого наезда на Урал с ревизией. Но, несмотря на все сплетни и наговоры, Боголепа Никоновича Рыжкова принимали во всех домах именитых заводчиков, купцов и государственных чиновников.

Гости явились к Небольсину с удовольствием, зная о его хлебосольстве. Кроме того, им хотелось узнать столичные новости, а главное, проверить, верен ли появившийся в городе слушок, что Небольсин привез из Питера цыганский хор. Однако к удивлению гостей хозяин за ужином не торопился удовлетворить их любопытство. Он предпочитал расспрашивать обо всем, что произошло в Екатеринбурге за время его отсутствия. И, как всегда, рассказал несколько довольно скользких анекдотов.

Перейдя в гостиную, гости расположились с удобством. Протоиерей в рясе из вишневого муарового шелка уселся в кресло возле стола с часами-курантами. Он молод, кареглаз и строен. Слывет в городе дамским угодником, хотя женат на петербургской купчихе – женщине видной и строгой по характеру. Напротив него в кресле расположился дородный Сосипатр Тетерников. Он лыс, но рыжая холеная борода красива, ибо волосы в ней отливают золотистостью. На диване, под портретом царствующей императрицы, пребывали купец Аркадий Карпушин – мужчина коренастый и чернявый с лицом без улыбок – он слыл в городе за тяжкодума и отменного молчальника, и полицмейстер, стареющий щеголь с пышными усами. На банкетке у стены сидел Боголеп Рыжков напротив большого овального зеркала в пышной раме. Небольсин, заложив руки назад, разговаривая, прогуливался по комнате:

– Не могу не сознаться, господа, что изрядно соскучился по вас. Правильно говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». Петербуржцы – народ чванливый и чопорный. Говорят с прищуренными глазами сквозь зубы, процеживая слова, а посему трудно распознать истинное к тебе расположение. В нас, уральцах, стараются видеть смиренных просителей, в карманах которых можно погреть руки. – Небольсин остановился около протоиерея, улыбнувшись, продолжал: – Мне крайне прискорбно, отец Иероним, именно вас лишить возможности послушать цыганское пение. Конечно, все вы уже слышали, что я на целый год заарендовал в столице цыганский хор, чтобы баловать горожан родного города.

– Не может быть! – разом воскликнули гости, но каждый со своими интонациями в голосе.

Услышав их фальшивое удивление, Небольсин раскатисто рассмеялся:

– Да будет прикидываться! По вашим взглядам давно понял, что полны вожделения послушать цыган. Вот отец Иероним самый страстный любитель цыганщины.

– Отпираться не стану. Не брезгую при удобном случае их песнопением. Да и кто в матушке-России без греха насчет увлечения цыганами!

– Орест Михайлович, по какой причине не можете усладить нас хоровым пением? – спросил Татарников.

– Главная солистка хора – Клеопатра – в дороге жестоко простудилась и лежит в постели.

– Премного огорчительно сие обстоятельство. Не скрою. Мне было известно, что вы привезли хор. Уведомление получил от ямщика Егора Хотькова, везшего именно сию болящую Клеопатру. Естественно, получив ваше приглашение, надеялся послушать ее пение.

– Но вы у меня не последний раз. Однако и без хора не дам скучать. Приготовлены для вас новости, при этом буквально ошеломляющие.

– Так не томите же, – попросил Рыжков с мольбой в голосе.

– Прошу, Орест Михайлович, прежде всего, известить о здравии наследника престола. Есть слухи, что царский младенец подвержен болезни, именуемой гемофилией, якобы унаследованной по материнской линии.

– Отец Иероним! Могу вас успокоить. Наследник пребывает в добром здравии. Болезнью этой он действительно страдает. Но в столице надеются, что медицинские светила избавят его от досадного недуга.

– Экая напасть! Но на все воля Господня, – уверенно произнес протоиерей и перекрестился. – Признаться, опасался верить печальным слухам, считая их злостной ложью революционных мракобесов.

– Переданные мною сведения о наследнике достоверны. Получены от господина Столыпина.

– Неужели удостоились встречи с его высокопревосходительством? – спросил Циглер.

– Дважды! Иначе и быть не могло. Столыпин знавал моего отца. Кроме того, ему известно, что я на Урале не последняя спица в колеснице. Он, как мудрый хранитель короны, понял, что именно от меня может получить сведения обо всем происходящем на Урале. Я, конечно, поставил его в известность о настроении в слоях нашего общества, на которые ему приходится опираться, – довольный произведенным на гостей впечатлением Небольсин, помолчав, продолжал: – После контактов с Петром Аркадьевичем смело могу сказать, что многое из происходящего в империи стало мне более понятным, дало возможность совершенно иными глазами смотреть на любые обстоятельства. В дополнении ко всему могу заверить вас в следующем…

– Мы с полным вниманием слушаем вас, Орест Михайлович.

– Могу заверить вас, что господин Столыпин своей провидческой мудростью и заботами о судьбе России удостоился полного доверия и уважения государя. – Небольсин, снова замолчав, оглядел слушателей и после длительной паузы добавил: – А главное, господа, к нему снизошла своим доверием императрица. Кому из нас неизвестно, как скупа на расположении к сановникам сугубо замкнутая и осторожная государыня Александра Федоровна.

– Видимо, у нее имеются причины быть таковой. Родовитое дворянство тоже не очень ласково с ней.

Небольсин недовольно перебил полицмейстера:

– Извините, милейший Отто Францевич, мне понятно то, о чем вы хотели сказать. Только нельзя же все сваливать на дворянство. Императрица горда и строптива. Ведь и в нашем городе есть горожане, и при этом разных сословий, коим не по душе, что вы, немец по рождению, являетесь в Екатеринбурге носителем полицейской власти. Не так ли, господа? – Но на свой вопрос от гостей ответа Небольсин не услышал. – Из моих слов, надеюсь, вам вполне ясно, что после бесед с Петром Аркадьевичем буквально прозрел и твердо убедился, что именно председатель совета министров Столыпин наведет в России государственный и притом незыблемый порядок и вернет нам спокойствие и благопроцветание.

– Скажите, Орест Михайлович, удалось ли вам что-нибудь услышать о революционере Ленине? – задал неожиданный вопрос Рыжков, заставивший всех насторожиться.

– Как вы сказали: о Ленине? Кажется, кое-что слышал. Но именно только кое-что.

– Меня, главным образом, интересует, будто этот Ленин поучал питерских рабочих верить, что именно их сословие способно произвести революцию.

– Представьте, кажется, и об этом тоже слышал, но, правда, мельком.

– Напрасно, Орест Михайлович, не поинтересовались серьезно замыслами господина Ленина и партии большевиков.

– Да почему у вас такой интерес к этой личности?

– А вот почему: если правда, что Ленин делает ставку на рабочих, то тогда это обстоятельство отодвинет вспышку крамольных беспорядков на многие годы, если не навсегда.

– Успокойтесь, Боголеп Никонович! Не важно, что замышляют о революции по заграницам Ленин, Плеханов и иже с ними. Для нас важно другое, а именно, что судьба России отдана в крепкие руки Столыпина. Повторяю, что после бесед с ним совершенно уверен, что

любые хитроумные замыслы революционеров не найдут ни малейшего сочувствия в народе. Петр Аркадьевич грядущими реформами укрепит в крестьянском сословии веру во Всевышнего и преданность пахарей царскому престолу. Пусть себе Ленин и еще кто готовят революцию руками рабочих, а Столыпин создаст незыблемый оплот монархии через благоденствие крестьянства и их мозолистыми кулаками пришибет любую противоцарскую крамолу.

– Дал бы Бог!

– Будьте уверены, Боголеп Никонович, даст нам Господь мирное житие под скипетром дома Романовых. Вы скоро в этом убедитесь. Неужели не обратили внимания, как заметно стихли всевозможные беспорядки на заводах и приисках?

– Да почти совсем прекратились. Совсем не слышно о террористах. И, конечно, в этом огромная заслуга жандармерии и полиции.

– А я слышал, Отто Франциевич, что террор уменьшится по другой причине. Будто эти самые большевики против индивидуального террора, считая его бессмысленным. Любого убитого пристава можно сразу заменить другим.

– Однако вы, Боголеп Никонович, неплохо наслышаны о смутьянах.

– Не мудрено, Отто Франциевич. Обязан все о них слышать, а о дельном доносить куда следует. Своя рубашка близка к телу. Моя деятельность проходит в гуще всякого рабочего сословия. Несмотря на карательные наказания, работяги не безмолвствуют. Ухо приходится держать востро. На защиту полиции не всегда приходится рассчитывать, особенно при поездках по краю. Мне жить хочется. У меня большая семья.

– Все это понятно, но все же лучше старайтесь о всяких революционных слухах говорить реже. Не думайте, что полиции и жандармам легко усмирять смутьянов. Уральские рабочие себе на уме и совсем не такие темные, как многим кажется.

– Сейчас высказал свое мнение об этом, ибо не согласен, что жандармам и полиции удалось утихомирить шальные повадки рабочих. Вы правильно заметили, что они себе на уме. Но это еще полбеды, главная беда в том, что у них светлая смекалка. Я-то их, прости Господи, всяких перевидал, но дураков встречал среди них редко.

– Господа! – повысив голос, произнес Небольсин. – Мы говорим о совершенных пустяках. Толчем воду в ступе. Завелось это в нас от страха после пятого и шестого годов. Все разговоры о рабочей мудрости – естественное следствие этого страха с порочными необоснованными предчувствиями. Гадание на кофейной гуще перетрусивших интеллигентов. И это опять-таки оттого, что в глухой провинции мы оторваны от истинных государственных дел в столице. Для нас должно быть важно самое главное. Революционные беспорядки российской черни задавлены, их вдохновители либо в гробах, либо за тюремными решетками. Поэтому мы можем жить и работать. Довольно о пустяках! Послушайте лучше новость, которая сразу заставит вас позабыть страхи и по-государственному задуматься о судьбе нашего неповторимого края, о которой мы привыкли думать постольку, поскольку это касается нашего личного благополучия.

– Скажите понятнее, – подал голос Тетерников.

– Хотите проще?

– Нет, понятнее, без упреков в наш адрес. Будто сами о себе не заботитесь?

– Забочусь, но и друзей не забываю. Ради этого виделся со Столыпиным, чтобы вселить в ваш разум успокоение за свою дальнейшую судьбу. Извольте. Скажу понятно. Государь намерен кое-кому из великих князей доверить заботу о нашем крае.

– Это почему же? Аль князьям делать нечего? – спросил Аркадий Карпушин.

– Чтобы не мешали интригами Петру Аркадьевичу спасать Россию от всякого мракобесия. Всем нам, причастным к уральской промышленности, нужно обдумать свое отношение к ней и для развития ее всемерно помогать пожеланиям ее новых опекунов.

– А ведь правильно говорите. Думать нам придется по-сурьезному. Великие князья, почитай, все переженились на иноземках, а посему приведут за собой иноземных родственников.

– Разве плохо? Родственники их тоже титулованные и с капиталами.

– Без них нам сподручнее, Орест Михайлович.

– С голоса Власа Воронова поете, Татарников?

– Говорю по своему разумению. Русский я, возле золота и всякой руды уральской, и, понятно, со своими навыками. Мужик он дельный и быть с ним в одних оглоблях почитаю за честь.

– Воронову прежде всего придется подумать о своей позиции квасного патриота в золотопромышленности.

– Не станет он думать, Орест Михайлович. Недосуг ему ерундой заниматься. Нашим новым опекунам тоже у него придется учиться.

– Заставят его думать!

– Кто?

– Власть. Положение у Воронова, благодаря поступкам дочери, незавидное. На вашем месте я бы, Сосипатр, не шагал с ним в ногу.

– Воронова уже пробовали пугать поступком дочери, да только он не струсил пужанья. Воронов – сам власть. Всех нас возле золота стережет. Всяк из нас волен своим добром распоряжаться. Вы сами, Орест Михайлович, с Вороновым во всем согласны были раньше. Аль неверно говорю? Мне чужих капиталов на подмогу не надо.

– Да поймите, упрямец, что время подошло другое. Государь мыслит любой ценой возвеличивать покойное благоденствие России. Наш долг помогать ему в этом всеми возможностями. Согласен, что любые новшества в нашей промышленности усваиваются нами с превеликим трудом. Но мы должны начать осмысливать и понимать будущую выгоду от преобразований в нашей промышленности. Нам же крайне необходимо, чтобы в край влился новый капитал от великих князей и их преданных друзей из-за границы. России пора выходить на столбовую дорогу промышленного прогресса, а не вытрясать из себя душу на извечных ныркаx и ухабах на большаках, проложенных в промышленности прадедами. Вот на ваших приисках, господин Тетерников, сколько намывается золота благодаря примитивному способу добычи?

– Сколько бы ни добывалось – все останется в России. А обзаведись я иноземными компаньонами, то они станут уволакивать законную долю в свои страны.

– Не хотите компаньонов, так продайте свои промыслы тем, кто не против иноземцев!

– Не подумаю себя этим утруждать.

– Вас, конечно, никто неволить не станет, но обстоятельства перемен в промышленности заставят отказаться от упрямства.

– Поглядим!

– Я посчитал долгом поделиться с вами новостью, для того чтобы вы могли на досуге обменяться мнениями с друзьями. Одна голова хорошо, а несколько все же лучше. Не знал, Сосипатр Фомич, что вы такой старовер. Человек недюжинного ума, всеми за вами признанного, а не можете жить без пляса от привычной печки.

– Резонно заметили! Не любитель отходить от печки. Без ее тепла у меня поясница ноет. Живу по канонам прадедовских родовых книг. На Камне у правильных людей они в должном почете. А вот вы, дворянин, живете не по дворянским канонам.

– Считаете, что неправильно живу?

– Неправильно. Без чутья осередь нас, уральцев, живете. Боголеп не зря вас про господина Ленина пытал. Вы отнеслись к его вопросу не с должным вниманием. А Боголеп о шибко сурьезном спросил. Его вопросец вплотную о рабочем сословии, от коего наша судьба в дюжей зависимости. Вот страхом нас упрекнули, коим объяты со всякими предчувствиями. Истинно,

всем этим не только объяты, а спеленаты. Вовсе зря ездили в столицу, ежели не уяснили, о чем в ней надо было разузнать. С чего стали тешить себя новшествами в промышленности? Да еще с помощью чужих капиталов. О другом надо было узнавать в Петербурге у господина Столыпина.

– О чем?

– О революционном бунтарстве. Аль не чуете, что мысленно вся империя в тенетах предчувствий и ожиданий, до сей поры никем не осознанных.

– Вас-то какие предчувствия мучат?

– У всех, кто не голоштанник, они одинаковы. Они и вас по ночам будят, вынуждая с боку на бок переворачиваться. Неужели от этого отопретесь? Предчувствия мои в том, что мастеровщина не отступилась от замыслов о восстании супротив богатых. Охота ей нас по миру пустить, заставить жить по их желанию. Правильно говорю, Отто Франциевич?

Полицмейстер, не ожидавший вопроса, растерянно пожав плечами, неуверенно ответил:

– Отчасти вы, господин Татарников, правы! Но позвольте в свою очередь заверить вас, что у полиции достаточно силы охранять покой имущих классов от любых посягательств безответственного сброда, именующего себя борцами за освобождение народа. Конечно, всецело присоединяюсь к Оресту Михайловичу, что при нахождении у руля государства господина Столыпина ни у кого не должно существовать малейшего опасения о новых попытках революционных волнений.

– Слышите, Сосипатр Фомич, это говорит человек, коему в Екатеринбурге доверена забота о нашем покое!

– Не глухой. Но все же заверения уважаемого Отто Франциевича волнения моего не уменьшают. Чутьем наделен. Чую во взглядах мастеровщины потайную ненависть к своему сословию. Упрямство в них больно закоренелое, добиваясь своего, они будут лезть на рожон, не глядя ни на какие усмирения.

– Я доволен, что у нас получился такой откровенный разговор. Ожидал, что мои новости вас ошеломят. Беспокойство ваше, Сосипатр, понятно. Во весь рост становитесь на защиту своих прав от посягательств черни. Но только ваши настроения против иноземцев ошибочны.

– Да ведь уже есть на Урале анонимные общества, и рабочие в них тоже не овечки: бастуют, не обращая внимания на иноземных хозяев.

– Вас трудно переубедить. Давайте послушаем, что скажет купец, но не промышленник. Ждем вашего слова, молчун Аркадий Флегонтович.

– Могу сказать, – ответил, встав на ноги, Карпушин. – Так понимаю… Мне все равно, кто станет вашими компаньонами. Свои ли сродственники царя либо заморские богатеи. Мне неплохо будет, ежели в крае больше денег окажется. От всякого богатства мне только прибыль. Перед всякими беспорядками черных людей не робею. Сам стану оглоблей защищаться. Кроме того, обязана меня от всего оберегать полиция, кою денежной благодарностью не забываю. Ведь резонно говорю, Отто Франциевич?

– Извините, не совсем уяснил смысл сказанного.

– Правильно говорите, Аркадий Флегонтович. По-купечески.

– Орест Михайлович, дозвольте спросить начистоту?

– Спрашивайте, Сосипатр Фомич.

– Только уговоримся, что ответите, как попу на исповеди.

– Согласен.

– Сами имеете намерение обзавестись иноземным компаньоном?

– Ухватили быка за рога? Извольте – отвечу. Вначале буду помогать великим князьям в их желаниях внедриться в золотую промышленность. Прииски у меня не ахти какие! Ведь, по вашим понятиям, я скорее барышник?

– Мню о вас, как о дворянине в чужом хомуте.

От ответа Тетерникова Небольсин вскипел:

– Нехорошо, проигрывая в споре, обижать словами сильного противника. – Нахмурившись, Небольсин закурил папиросу. – Считаю, что высказали ваше последнее суждение поспешно и необдуманно. Не заслужил вашей грубости.

– Долг платежом красен, Орест Михайлович. Про хомут ввернул в отместку за печку, от которой начинаю любой пляс. Чать, тоже грубо высказали.

– Вывернулись? – Небольсин засмеялся, но добродушия в смехе не было.

– А вы, отец Иероним, почему сегодня в молчанку играете?

– В вашем мирском споре, Орест Михайлович, мое дело сторона. Не положено мне в моем сане совать нос в дела царя земного. У меня своих церковных дел выше головы.

– Что-то не верится. Суете и вы нос в мирские дела. У вас и в церкви амвон, с коего вещаете мирянам благие вести.

– Оно так. Но об услышанном сегодня мне надобно подумать, да и доложить владыке на его милостивое соизволение.

– Думайте, отец Иероним, а я вашего прихода не обойду.

– Благодарствую, Орест Михайлович. О любви к ближнему своему всякий день людям толкуем. Беда только в том, что заводится у людей неверие к нашим поучениям из-за всяких смутьянов. Но Господь не без милости. Не допустил нашей гибели в пятом году, не допустит и теперь. Поелику у Царя небесного хотя и незримая для нас, но превеликая сила. Все беды наши заводятся от людской грамотности. Она баламутит человечье сознание, по-неправильному толкуя все Господни чудеса и милости. Ведь как хорошо жилось в недавние времена, когда за разгадкой всякого слова люди к нам приходили, да и без сомнения принимали наши толкования Христовых истин. Однако осмелюсь напомнить о позднем часе. Пора хозяину дать покой.

– Подождите! Без посошка не отпущу. Отто Франциевич, почему не хотите со мной поделиться своей неприятностью?

– Да это же ерунда! – ответил, улыбаясь, полицмейстер. – Подумаешь, неприятность! Дал по морде директору женской гимназии, когда во время исполнения гимна он не снял шапки.

– В Перми я услышал, что наши интеллигенты посылали на вас жалобу губернатору. Он ведь с заскоками, и будто намерен дать жалобе законный ход.

– Ну и что? В худшем случае переведут в другую губернию. Уволить не решатся. Есть у меня в Петербурге дружки. Россия, Орест Михайлович, велика. В любом городе можно свить теплое и сытное гнездо в моем звании. А интеллигентов-умников бил по мордасам и буду бить, несмотря ни на что.

– Молодец! Надеюсь, за вас заступится жандармерия.

– Вряд ли. С полковником у меня натянутые отношения. Ему не понравилось, что я влепил пощечину рукой без перчатки.

– А вы шутник!

– Шутить полагается в любом неприятном положении.

– Прошу, господа, на посошок. Между прочим, Шустов выпустил новую марку коньяка…

Глава II

В губернском городе на Каме тоже январская стужа.

Вечерами по-уральски злой мороз усиливается от ветерка со стороны речки Егошихи, а он всегда с колючей поземкой. Горожанам егошинский ветерок не ко двору. Раньше времени подчистую подметает суматошную жизнь на базарах и улицах. Из-за него даже на Сибирской мало гуляющих. Прохожие торопятся к домашнему теплу, редко задерживаясь у ярко освещенных соблазнительных витрин магазинов. Только гимназисты с гимназистками привычно собираются возле окон мехового магазина «Алина», и на них из-за зеркальных стекол, разрисованных узорами инея, таращат стеклянные глаза чучела уссурийского тигра и рыси.

Сибирская улица в Перми столбовая. Она протянулась с берега Камы через весь город до гранитных столбов с екатерининскими чугунными орлами, соединяясь с трактом в Сибирь. В центре Сибирской улицы особняк губернатора. Перед ним в медных фонарях горело электричество, освещая над парадной дверью герб Пермской губернии. Иней притушил на нем яркость раскраски, но все же видно, как на красном поле щита серебряный медведь несет на спине Евангелие в золотом окладе и серебряный крест. Губернаторский дом круглосуточно под усиленной охраной. Благополучие его постояльца берегут как на подбор рослые вооруженные городовые.

Три дня назад в доме появился гость – князь Василий Петрович Мещерский. Сановник прибыл из Петербурга в специальном литерном поезде. И хозяин волей-неволей вынужден был оказать ему подобающее внимание, хотя не испытывал к нему особого расположения.

Сегодня Мещерский со свидания с правящим пермским епископом вернулся не в духе. За обедом жаловался на хитрое тугодумие архиерея. Высказывал опасение, что именно в Перми может простудиться. Капризно сетовал на больную печень и плохой аппетит. Однако, опровергая сетования, под семгу и зернистую икру выпил три рюмки водки. С видимым удовольствием ел рябчиков в сметане, запивая сухим вином, а после кофе, сославшись на усталость, решил часок подремать.

Пожелав князю доброго отдыха, губернатор приказал камердинеру затопить камин в личном кабинете, переодевшись в домашнюю куртку на беличьем меху, прошел в любимую комнату. В ней обычный полумрак. От пламени в камине по потолку шевелятся световые блики. В канделябре на столе горят свечи. На стенах темно-синие обои с золотыми брызгами. На них в рамках портреты. Во всем доме электричество, но его свет никогда не распугивал темноту этой комнаты. По убеждению хозяина, мертвый свет электричества лишает человеческую мысль глубины и мудрости, а вернее, мешает сосредоточиться. Так губернатор думал наедине, а тем, кто был вхож в личный кабинет, обычно говорил, что от электричества у него болят глаза.

Губернатор своим поведением у населения Урала стяжал славу решительного, сурового и малодоступного человека. Около письменного стола два кресла. Одно с высокой спинкой для хозяина, а второе – для гостей, но чаще всего в нем спит сибирский кот Варнак. На столе письменный прибор, малахитовая шкатулка, в овальной рамке фотография вдовствующей императрицы Марии Федоровны с личной дарственной подписью. У стен низкие шкафы с книгами. На выступе над камином друзы горного хрусталя и вороненые чугунные кони, шедевры вдохновенного искусства литейщиков Каслинского завода.

На стене двери большая карта. На ней границы трех Уралов обозначены разными красками. В карту натыканы булавки с красными и белыми стеклянными головками.

У камина вольтеровское кресло, обитое гобеленной тканью. Оно сделано во Франции, и подарила его губернатору еще в дни его молодости покойная мать.

Приезд Мещерского смутил губернатора. Он терялся в догадках, кем и зачем он прислан сюда. О князе губернатор знал многое. Ему было известно, что он вхож к обер-прокурору Свя-

тейшего Синода Победоносцеву, а в последнее время настойчиво старался попасть в окружение к Петру Аркадьевичу Столыпину.

Губернатор не сомневался в одном: что Мещерский появился во вверенной ему губернии неспроста, ибо до сих пор умалчивал о цели, заставившей его, несмотря на возраст, отважиться в январе на поездку в студеную уральскую землю.

Заложив руки за спину, губернатор шагал по комнате. Он высокого роста, но сутулился. Все еще густые седые волосы с остатками черноты на висках. Квадратная бородка. Серые глаза из-под бровей приучены смотреть с пытливой властностью.

Свое военное воспитание он начал в Нижегородском кадетском корпусе. Отец его, в высоких чинах, в годы императора Александра Второго был близок к царской фамилии. Благодаря этому его единственный сын, став офицером гвардии, получил возможность сдружиться с наследником престола.

Внезапно умерший родитель оставил вдове и сыну только крупные долги. Пришлось прервать службу в гвардии. По желанию наследника, уже ставшего императором Александром Третьим, начал служить по Министерству внутренних дел, а через несколько лет он стал губернатором в одной из центральных губерний. Но в Ливадии умер венценосный покровитель. На престоле появился Николай Второй, и по его монаршей воле губернатор пятый год оберегал от революционной крамолы незыблемость законов монархии в Пермской губернии.

Получив назначение на Урал, губернатор расценил его как опалу и скоро убедился, что действительно вступил на тропу, ведущую к закату блестящей служебной карьеры, подозревая, что главной причиной для этого послужило расположение к нему императрицы – матери царствующего монарха.

Властная, честолюбивая гессенская бесприданница принцесса Алиса, превратившись в царицу Российской империи с православным именем Александра, ненавидя свекровь, с настойчивым упорством отдаляла от трона всех, кто так или иначе был возле него при прошлом царе.

До своего назначения в Пермскую губернию губернатор знал об Урале только понаслышке. В его представлении край был порогом в Сибирь. Край чрезвычайно глухой, населенный людьми с закостенелым, невежественным, темным укладом житейского бытия. Но, проведя в губернии годы, побывав по должности в ней во многих местах, он вынужден был заинтересоваться существованием его жителей не только разных сословий, но и народностей. Знакомство с краем помогло ему узнать многое о насущных нуждах и стремлениях уральцев, и он постепенно вынужден был проникнуться к ним уважением, осознав их совершенно необычную одаренность. Он скрупулезно, с интересом по архивным данным изучил историю уральского крепостного права, истоки зарождения при нем от корней российского крестьянства обособленного рабочего сословия. И ему стало ясно, что именно на Урале уродливые условия крепостничества наложили неизгладимый отпечаток на характерное стремление трудового люда к вольности, люда, выковавшего в кузницах вековой горнозаводской каторги самобытный, самостийный, непокорный характер.

В Перми губернатор пережил войну с Японией. За ней последовал январь пятого года. Эхо из столицы донесло до Уральских гор набат страны о пролитой народной крови. Урал захлестнула волна революционных восстаний. Его просторы также обагрились кровью. Высвисты нагаек не захлестывали рабочую ненависть. Раздавались выстрелы террористов. Урал полонили социальные потрясения всей великой страны.

Но губернатор прекрасно постиг систему полицейского закабаления рабочих по рецептам «царя-миротворца». Революционную для империи беду он встретил с твердой уверенностью в своем опыте администратора, способного любые беспорядки подавлять, не останавливаясь при этом ни перед какими преградами. Верный данной присяге, пермский губернатор применял самые крутые меры. Жандармы, полиция, казаки и ингуши ревниво выполняли его

распоряжения, творя суд и расправу на заводах, рудниках и приисках. Но все принимаемые меры не приносили в губернии умиротворения. Губернатор вдумчиво выискивал способы, чтобы сломить революционный накал рабочих, переполняя тюрьмы арестованными. Прозвучали выстрелы покушения на его жизнь. Пальцы рабочих Мотовилихи нажали курки. Пули прогрызли стекла в окнах столовой, впились в стены, но шаги губернатора не остановили, и он продолжал жить. Напугали ли его выстрелы? Да, напугали. Заставили посылать в столицу доклады о далеко идущих революционных замыслах рабочих и интеллигенции. Однако в Петербурге не склонны были уделять должного внимания его опасениям, считая их просто результатом губернаторского испуга. Но он не сомневался в правоте своих предчувствий, не сомневался, что его опасения не беспочвенны. Подтверждение для своих опасений он находил в ненависти к самодержавию, скопившейся в разуме рабочего Урала.

И наступил день, когда он пришел к выводу, что бессилен задушить стремление уральцев к свободе, и летом минувшего года подал прошение императору об отставке.

Стук в дверь заставил губернатора остановиться и громко сказать:

– Прошу!

Массивная дверь открылась, впустила в комнату полосу яркого света. Вошел Мещерский в малиновом бархатном халате.

– Извините, надеюсь, что не помешал одиночеству?

– Прошу, князь.

Мещерский придирчиво осмотрел комнату:

– У вас здесь, буквально, прелестно! Свечи. Обожаю их огоньки! – Подойдя к столу, Мещерский протянул руки к свечам. – С детских лет обожаю живой огонь, способный согревать. Теперь мне иногда по-стариковски хочется из века нынешнего уйти в минувший. Так-то, Леонид Михайлович! Время не ждет. Завидую вам! Умеете создавать возле себя уют. А может быть, в этом заслуга вашей несравненной супруги. Кстати, она опять вне домашнего очага?

– Да, в Томске. Гостит у сестры. Напугали ее революционные события. Там ведь немножко тише.

– Ох, не знаю, тише ли? Ведь именно в Сибири везде столько всякого крамольного сброда понатолкано.

– Нет, там гораздо тише.

– Если так, то слава богу! Разрешите понежиться у огонька. Камины – моя слабость.

– Сделайте одолжение и чувствуйте себя по-домашнему.

– Прелестно! У вас я действительно чувствую себя, как дома. – Мещерский сел в кресло около камина и вытянул ноги. – Прелестно! – Прикрыв глаза, подумал, что хозяин о жене сказал неправду. Князь знал, что семейная жизнь губернатора не удалась. Жена, страстно любившая играть в карты, предпочитала жить вне дома, у тех или иных многочисленных родственников. – Просто прелестно! – открыв глаза, произнес гость. – Кстати, чуть не позабыл. Ведь шел к вам рассказать о нелепом послеобеденном сновидении. Представьте, что приснился пьяный поп, совавший мне в руку десятирублевую кредитку. Приснится же такая несусветная чушь. Может быть, оттого, что переел за обедом? А как было не чревоугодничать, когда рябчики по вкусу были прелестны?

Вспышки в камине освещали лицо Мещерского: блестящий лысый череп; лицо – костистое, сухое; кожа на нем натянулась настолько туго, что нет морщин; маленькие черные глазки сидят глубоко; когда веки прикрыты, кажется, что их нет в глазных впадинах. Тонкие злые губы не оживляют окаменевшее лицо. Но у князя красивые руки с тонкими холеными пальцами.

– Курить разрешите? – спросил гость.

– Прошу. Может быть, хотите сигару?

– Нет. Курю только папиросы. – Князь вынул из портсигара толстую папиросу. Щипцами добыл из камина красный уголек и от него закурил.

– Ваше сиятельство!

Князь, обернувшись к хозяину, удивленно спросил:

– Зачем же так официально, Леонид Михайлович? Вы уж лучше меня по имени. О чем хотели спросить?

– Вам известно, что мною подано прошение об отставке?

– Несомненно. Разве все еще не получили на него милостивое соизволение от государя?

– Нет.

– Вот ведь до чего подла наша чиновничья волокита.

– Разрешите считать, что вы прибыли сменить меня!

– Пресвятая Владычица! Как могла такая мысль осенить вас? Меня даже в жар бросило от вашего вопроса.

– Тогда, может быть, вам известно решение Его Величества?

– Несомненно! Должен вам сказать, – Мещерский сделал многозначительную паузу. – О вашем прошении в Петербурге, в известных кругах, было много разговоров. Я слышал, что государь был согласен удовлетворить ваше желание. Согласна была с его решением и августейшая матушка, но в дело вмешалась императрица Александра Федоровна и категорически воспротивилась, потребовав от супруга не отпускать вас с поста в такое сугубо смутное для империи время. Вот так! Вам-то ведь известно, что наш милейший по мягкости характера государь не в состоянии пойти против желания своенравной супруги.

– Вот как? А мне казалось, что именно государыня поддержит мое желание.

– Нет, Леонид Михайлович! Теперь сумасбродная немка, разогнав всех честных и преданных людей, окружив государя знатной лебезящей перед ней кликой[3] – поняла, наконец, что натворила кое-какие глупости. Вы думаете, ее не тревожат недавние крамольные беспорядки? Тревожат. Но она своенравна до самозабвения. Вмешивается в государственные дела. Представьте, пробовала интриговать против Столыпина. Но Петр Аркадьевич не таков. Он дал ей понять кое-что. Конечно, пойти на такой шаг Столыпин рискнул только после того, как ощутил поддержку родового дворянства.

– Считаете, что таковая поддержка надежна?

– Не понял вопроса?

– Хотел сказать, что дворянство весьма непостоянно в своих симпатиях не только к сановникам, но и к самодержцам.

– Отчасти, пожалуй, в ваших словах есть доля правды. Но в данном случае могу заверить, что сегодня столичное дворянство искренне предано Столыпину. Мы видим в нем спасителя России от многих бед. Мы видим в нем честного слугу династии. И, пожалуйста, не сомневайтесь в том, что он сильная личность, особа, необходимая империи, чтобы вывести ее снова на светлый путь былого благоденствия и мирного жития.

– Удивило меня…

– Что?

– Ваше мнение о государыне. Мне известно, что недавно были ее ревностным поклонником. А теперь вам не нравится ее немецкое происхождение.

– Сущую правду изволили сказать. Боготворил ее образ. Восхищался ее умом. Все это было до тех пор, пока не убедился, что она не смогла, вернее, не сумела обрести среди нас истинно русскую душу.

– Странно слышать об этом. Неужели надеялись, что если ее перекрестят в православную веру, то она мгновенно обретет русскую душевность? Согласитесь, что и у наших дворянок души тоже бывают разные, хотя по рождению они истинно русские.

– А вы по-злому судите о дворянах?

---

[3] Клика – группа людей, стремящихся к достижению корыстных целей.

– Сердит на них. Ибо сам имею честь состоять в этом сословии. Сержусь оттого, что мне не по душе моральный облик современного дворянства. Правда, оно перестало душить себе подобных, но пакости творить между собой не перестало. Ведь для нас все хороши, пока смиренно и послушно льют воду на нашу мельницу. Чуть не по-нашему, то сразу начинаем низвергать кумиров если не физически, то нравственно. Ведь помните, как императрицу Марию Федоровну травили только за то, что она датчанка и в ней нет светского блеска? И, конечно, не станете отрицать, что окажись на месте гессенской принцессы – русская, и ее бы травили, если бы не шла на поводу у дворянства. Наша государыня – крепкий орешек. Многие уже поломали зубы. Она оказалась не из тех, что преклоняются перед чванством нашей родовитости. Она, наоборот, всех заставила себе кланяться в пояс. Не удастся нам привести ее к покорности. В одном вы правы, что она не любит возле себя наших дворян. Даже льстящих не любит. Платит той же монетой, какой платим ей мы. Кажется, теперь вы удивлены?

– Испуган сказанным. Пребывая вдалеке, вы решаетесь выносить слишком опасные для себя суждения.

– Не согласны, что издалека лучше видно? Что может быть для меня опасным? Жизнь на Урале приучила меня быть смелым. Посему и сужу обо всем реалистично и беспристрастно.

– Беспристрастность ваша убедительна. Но вы живы, а посему любые опасности для вас не исключены. Лично рад, что государь не удовлетворил вашей просьбы об отставке. Ваши суждения в Петербурге сулили бы вам мало приятного. Нашлись бы даже недоброжелатели, записавшие вас в ряды умалишенных. Вот и выходит, что длительная оторванность дворянина от соприкосновения со своей средой служит ему не на пользу. И уж ежели между нами начался подобный разговор, попрошу вас со всей откровенностью поставить меня в известность, что именно в последние годы служило причиной, вынуждавшей империю сотрясаться от нелепых волнений.

– Увольте, князь! Ответить на вопрос со всей откровенностью не смогу. Многого сам толком не понимаю. Мешает происхождение и убеждение. Однако считаю, что трагедия поражения нашего оружия в японской войне явилась стимулом, переполнившим чашу обид и унижений, вызвавшим воскресший порыв национальной гордости, заставившим рабочих взяться за оружие.

– И начать отвратительный бунт?

– В пятом и шестом годах проявились проблески революции. В них были уже признаки продуманного революционного замысла. Правда, еще слишком путаного, разнобойного. Причина тому – разлады революционных партий, споры вожаков о главенстве на право свержения монархии.

– Надо было углубить эти споры, чтобы они расшибли себе лбы. Умней надо было действовать кому следует.

– А что, если уже поздно? Что, если у господ революционеров появился человек, способный сыскать путь к единству революционных действий?

– Плеханова имеете в виду?

– Нет. На смену ему пришел другой революционер. Он воспитал себя в Енисейской губернии для собственного революционного замысла.

– Помилуй бог, Леонид Михайлович, про кого говорите?

– Говорю о присяжном поверенном Ульянове. О сыне симбирского дворянина.

– Позвольте, позвольте! Ульянов? Не брат ли он повешенного Александра Ульянова, обвиненного в покушении на государя Александра Александровича?

– Родной брат.

– Вот как? – Мещерский встал на ноги. Достал из портсигара папиросу, помяв ее в пальцах, задумавшись, подошел к свечам и от огня одной из них прикурил.

– Слышал я о государственном преступнике Александре Ульянове многое. Главное, меня заинтересовало его самообладание на судебном процессе. Представьте, сам защищал себя крамольной речью. Может быть, и братец такой же непреклонный. Ведь может стать опасным человеком?

– Уже стал. По должности мне приходилось читать издаваемую им «Искру». Не без внимания прочитал и его нелегальные печатные труды. И должен признать, что все, что написано Владимиром Ульяновым, оставалось против моего желания в памяти. Его мысли заставляли задумываться и даже соглашаться с силой его революционных аргументов. У этого человека дьявольская способность уверять, что именно он может в нашей полуграмотной стране создать из рабочих здравомыслящую революционную партию, способную восстать против самодержавия.

– Почему его не уничтожат? Неужели, пребывая в Петербурге, не знали, что рядом с вами на берегах Невы в прошедшие два года проживал этот самый Ульянов-Ленин?

– Не может быть.

– Может! Хваленая столичная полиция и жандармерия позволяли ему руководить революционными действиями.

– Уму непостижимо.

– Постижимо и реально. Пора Петербургу начать думать о спасении империи серьезно. Пора всем, кому надлежит беречь трон, перестать хлопать ушами и окриками на губернаторов наводить в империи порядок. Когда по стране скакали казаки и пороли всех попадавших под руку, Ульянов-Ленин с улыбкой наблюдал нашу растерянность, примечал малейшие ошибки в подавлении беспорядков, улучшая по ним свои позиции на пути к будущему осуществлению своего революционного замысла.

– Допускаете мысль?

– Допускаю!

– Когда?

– Кто знает? У революционеров, как и у нас, есть время. Готовиться!

– Сохрани, Господи, Россию с нами грешными! – Мещерский перекрестился…

– Беда, князь, в том, что Ульянов зовет рабочих и крестьян к классовой борьбе, отдавая свершение своего замысла в руки рабочего класса. Ему верят, Василий Петрович. Это я могу подтвердить.

Губернатор взял со стола канделябр со свечами, подняв его над головой, осветил на стене карту Урала:

– Взгляните на уральские просторы! Видите булавки с красными головками?

– Вижу.

– Ими обозначены тайные революционные очаги. Они существуют, но губернатору, жандармерии и полиции их местопребывание неизвестно.

– А каково значение белых булавок?

– Места, где мы их как будто искоренили с помощью наших агентов, среди которых мало способных.

– Надо хорошо платить. Деньги помогут.

– Петербург скуп. Вы в нем надеетесь что авось все обойдется. Поубивают полицейских и губернаторов, прихватят какого-нибудь министра. Вам ведь их не жалко. Лишь бы не вас.

Замолчав на высоком накале голоса, губернатор поставил свечи на стол, открыл на письменном столе малахитовую шкатулку, достал из нее трубку, набил табаком и закурил.

– Василий Петрович!

– Слушаю.

– При случае, в столичных салонах все же расскажите, почему пермский губернатор не хочет стать трупом от очередного выстрела. Может быть, и не по политическим мотивам.

– Опять не понял!

– Второй раз на меня в Перми покушался купчишка, выполняя желание шансонетки-француженки. Она обещала стать его любовницей, если он убьет губернатора. Убивать губернаторов теперь модно. Купчишка с пьяных глаз промахнулся, а неведомый следующий стрелок может и попасть.

– Что вы, что вы! Типун вам на язык. Два раза чудесно спаслись под охраной Божьей десницы. Господь к вам милостив! Кажется, постучали.

– Входите!

В кабинет вошел молодой чиновник.

– Что случилось?

– Телеграмма, ваше превосходительство, из города Соликамска. В полдень сегодня там от взрыва бомбы погиб исправник.

– Хорошо, Павел Сергеевич, я подумаю, что предпринять. Вы свободны.

Чиновник вышел из комнаты. Князь сокрушенно покачал головой:

– Подумать только, как здесь легко потерять жизнь за верность царю и отечеству.

– Убитый две недели назад уверял меня, что революционное подполье в Соликамске зажато и пикнуть не смеет. А оно не только не молчит, а даже стреляет.

– Погибший был хорошим человеком?

– Исполнительным. Жалею, что известие испортило вам настроение. А поэтому поедем в театр. Там сегодня «Кармен».

– Лучше не стоит, Леонид Михайлович! После нашего разговора хочется сосредоточиться и подумать.

– Но при этом не падать духом. Грейтесь у камина, а я пойду и распоряжусь об ужине.

Губернатор ушел. Мещерский вновь сел к камину, плотно завернувшись в халат.

В неплотно прикрытую дверь полоса яркого света дотянулась почти до вольтеровского кресла. Из глубины дома глухо донесся бой часов. Пробили они семь звонов…

Глава III

1

Реки Большая и Малая Кушвы приютили на своих берегах по-уральски вольготно раскинувшийся Кушвинский завод. У него в крае громкая слава от того, что в двух верстах среди холмистой местности высится, главенствуя над заводом, величественное чудо Урала – гора Благодать. С западной стороны гор примыкает обширная возвышенность, которая, снижаясь улицами, переулками-кривушами и тупиками селения, дотягивается до заводского пруда.

Основанный в 1736 году завод теперь Гороблагодатского округа, и с лет, как окрест него сыскались платина и золото, живет шумно, сытно и пьяно, превратившись в место, где водятся гнезда золотопромышленников.

2

Миллионщик Влас Воронов жил возле пруда. Его каменный дом в два этажа с трех сторон окружал черемуховый сад. Парадный ход дома под навесом с колоннами. Ворота покрашены темно-синей краской. По улице вдоль всего фасада протянулся палисадник с березами и кустами сирени.

Ранним утром, когда зимний восход только начинал золотить крест на часовне горы Благодати, стенные часы в парадном зале вызвонили седьмой час.

По сумрачному коридору, позевывая и шаркая частыми шажками, семенила экономка Марья Щукина. Дойдя до дверей хозяйкиной опочивальни, она по привычке остановилась у окна.

Щукина стала жительницей вороновского дома в тот же день, когда его хозяйка вошла в него из-под венца. Щукина – подружка хозяйки с детства. Выросли обе в захудалой деревеньке на реке Чусовой. Босоногими из-за нужды из родных мест ушли на прииски подле Кушвы. Подружка – Фиса Кротова – неожиданно с приисков вышла замуж за Власа Воронова. Став богатой, Анфиса Михайловна не кинула подружку, а взяла ее в свой дом. Щукина, очутившись в Кушве, окунулась в заботы чужой семьи и не приметила, как состарилась в девках, хотя на нее поглядывали хорошие мужики, но она была в этом привередлива.

Постояв у окна, увидев все такое знакомое и привычное на дворе в утреннюю пору, Щукина зашла в опочивальню. В горнице темно. Заставлена она старомодной мебелью из карельской березы, горками невьянских сундуков и шкафами. На столике возле кровати в серебряном подсвечнике, оплывая, догорала свеча и лежал журнал «Нива».

Анфиса Михайловна Воронова в молодые годы была видной по пригожести девичьего лица, а потому даже в подошедшей старости с него еще не сошли черты былой миловидности. Пришла она на прииск своего будущего мужа малограмотной. Сама не знала, чем полонила сердце Власа. Выйдя за него замуж, жадно потянулась к образованию, и теперь могла похвастаться, что перечитала множество книг. Для мужа оказалась хорошей помощницей в делах по золоту, родила ему дочь и сына, веселиться не отказывалась, а главное – умела находить слова бодрого утешения, когда на мужа накатывала хмурость от всяких неудач.

Щукина, увидев горящую свечу, подошла к столику, чтобы ее погасить, но услышала голос хозяйки:

– Доброе утро, Маруся! Раскинь шторы.

– Как поспала, любезная? – Щукина, послюнявив пальцы, загасила свечу. – Опять с утра меня сердишь.

– Чем, скажи на милость?

– Свечой, матушка! – Щукина отдернула на окнах шторы, впустив свет все еще с предутренней синевой.

– Видать, пасмурно седни?

– Не разглядела, потому носа на волю не высовывала. Рано. Только восьмой час заступил.

Воронова улыбаясь, позвала подругу:

– Поди сюда! – Когда Щукина подошла к кровати, взяла ее за руку. – Ворчунья ты, Маруся!

– Сама посуди, как на тебя не ворчать. Поди, с полуночи читала? Никак не уразумеешь, что всех книжек не перечтешь. Ноне, матушка, кому не лень пишут. Раньше только Пушкин на всю Россию писал. А ноне, не приведи Господь, сколько сочинителей развелось. На Каменном поясу и то свой водится.

– Разве Мамин-Сибиряк не достойный писатель? Горжусь, что лично с ним знакома.

– Я его не охаиваю. Только к слову помянула, что и у нас свой, уральский, водится. Человек он умный и уважаемый.

– Ишь как ловко вывернулась. Поди, не все его сочинения читала?

– А где мне в твоем доме для чтения время взять? Аль не видишь, что задыхаюсь от твоего хозяйства на плечах? К чему завела речь о твоем запойном чтении? Глаза вконец портишь. Позабываешь, что доктор говорил, который раз за три года стекла в очках менял. Чать, не малолеток. Должна понимать, что можно, а что и не дозволено.

– От другого у меня, Маруся, глаза худеют.

– Знаю. Не вздумай их сейчас слезой мыть! Знаю, отчего в твоих глазах немочь.

– Читала сегодня вовсе малость. Больше лежала и думала, отчего от Ксюши письма долго нет.

– Оттого и нет, что не дозволяют ей часто писать.

– Раздумалась о доченьке, а заснув, не погасила свечу. В чем, конечно, виновата.

– Разве порядок? От свечи до пожара недалеко.

– Не серчай, Марусенька.

– Да разве смею на тебя серчать? Скажи лучше, как болесть в ногах ночью донимала?

– Сегодня не шибко.

– Потеряла я начисто покой, как стала ты ногами маяться. Мочили мы их с тобой по делу и без дела во всякой водице, вот теперь твои и корежит болезнь. Мои, видать, крепче твоих выдались, а ведь и их тоже иной раз ломит.

– Влас дома?

– Да ты что? Чуть свет на пруд подался. Своего любимчика – рысака Филина – к бегу учит. Сказывают люди, что на Масленке собирается на гонки записаться. И когда утихомирится мужик! Седой, а все куролесит! Заговорилась с тобой. В столовой станешь чай пить или сюда принести?

– Вместе с тобой напьюсь в столовой. Не слыхала?

– Про что?

– Про Захарыча Макарова?

– Да ты что? Ежели бы он объявился в Кушве, то к тебе в первую очередь заявился с книжечками. Все накупаешь их и накупаешь. Пять шкапов книгами заставила.

– Влас как-то сказывал, что Макаров недавно пострадал из-за книжек.

– Слыхала. А сам виноват. Плохо глядит, чем торгует. Полиция ноне к любой печатной бумажке лапу тянет.

– Как легко обо всем судишь!

– Как умею.

– Время такое подошло. Люди, Маруся, правду своей судьбы ищут. Вспомни про прииск, как мы, недовольные хозяевами, ее тоже искали. Тогда и мы о правде своей жизни думали.

– Да скоро перестали, когда за думы перед носами кулаки увидели.

– Перестали думать, когда сытно зажили. Забыла ты?

– Помню, матушка. Всякому своя судьба на роду писана. Теперь так понимаю. Сколь бедняк не бунтуй против богатого, толку не выйдет. Нагляделась, как за поиск правды казачки кушвинских мастеровых нагайками до крови гладили. Вот и Ксюша наша. Да не мое дело о таком судить. Ты грамотнее меня. Мое дело беречь тебя, главное, от материнского горя. Сама встанешь?

– Сама.

– Тогда дозволь уйти.

* * *

Морозным утром Кушва в солнечной позолоте.

От безветрия дым заводских труб столбами поднимался к чистому небу. Солнечные лучи искристыми переливами вспыхивали в опушке куржи[4] на ветках деревьев. Стрекотавшие сороки, перепархивая с веток, осыпали иней.

По улице берегом пруда шагал высокий старик Иннокентий Захарович Макаров, опираясь на суковатую трость. Под его подшитыми валенками скороговоркой поскрипывал снег. У старика борода с густой проседью. На ней и на усах ледяшки от остывшего дыхания. Лицо старика в морщинах, выскобленных пережитыми годами. На голове соболья шапка; воротник шубы поднят; в левой руке путника связка книг.

В это время на кухне у Вороновых молодая женщина в расстегнутой кофте, старшая кухарка, хлопотала возле русской печи, сажая в нее противни с ватрушками и шанежками. Услышав покашливание у дверей, она, не оборачиваясь, спросила:

– Кто прилез?

Вошедший в кухню кучер Лукьян ответил глухим голосом:

– Знамо, я, Аграфена Семеновна.

– Чего надо в экую рань?

– Сказать пришел.

– Про что? – Аграфена, обернувшись, оглядела Лукьяна, но почувствовав на себе мужской ощупывающий взгляд, торопливо начала застегивать кофту. – Лезешь завсегда не вовремя. Да и из себя пригож. Опять зенки с пьяной придури заплыли?

– Винюсь. С горя ночесь стакашник опрокинул в себя. На тебе в этом вина. Обещалась, а не пришла.

– Кому врешь? Стакашник. От одного веки не распухнут.

– Понимай, голубушка, чать, ты для меня судьба.

– Поняла, потому и не пришла. Эдакий ты мне ни к чему. Я женщина с требованием к мужикам. А от тебя дух винный.

– Мне без тебя не жить.

– Обещал мне клятвенно к вину не касаться?

– Винюсь.

– Сказывай, зачем пришел?

– Аграфена Семеновна, прости сперва!

– Сказывай! А то ухват в руку возьму. Знаешь, какая характером.

---

[4] Куржа – изморозь, иней (*обл.*).

– Ночью у Глыбиных у студента, который ребят обучает, фараоны в вещичках копались.

– Не скажи! Врешь, поди?

– Право слово. Заарестовали его.

– За что же? Человек он такой обходительный. Всегда на поклон ответит. И на лицо приятный.

– Нашли у него какие-то книжки супротив царской власти.

– Господи!

Но отворившаяся дверь помешала разговору. Вошел Макаров.

– А тебе чего надо? – раздраженно спросила Аграфена, недовольная, что незнакомый человек помешал ее разговору с кучером.

Не ответив на вопрос, Макаров отвернул воротник и снял шапку. Аграфена, узнав пришедшего, растерявшись, удивленно всплеснула руками:

– Господи! От волнения-то не признала вас разом, Иннокентий Захарович. Да чего же это вы в кухню заявились? Чать, в дому вы самый желанный гостенек.

– Раненько явился, вот и решил попервоначалу тебя, Семеновна, проведать. По нонешним временам в домах надо все входы и выходы знать.

– Давай помогу разоболочься.

Аграфена приняла от Макарова шубу на беличьем меху. Старик расчесал гребнем бороду и волосы. Подойдя к печке, приложил к ней ладони.

– Студено седни. Хозяина вашего сейчас на пруду углядел. Рысака по кругу гоняет.

– Филина гону обучает. Книжек-то опять сколь приволокли. Хозяйке радость.

– Ты грамотная?

– Упаси бог. Жить без грамоты спокойней. Своим умом живу, а то от книжек с чужой мудростью башка болеть зачинает.

– А чем встревожилась с утра?

– Хороший человек в беду попал. Лукьян новость принес. Сделай милость, Иннокентий Захарович, скажи мне, что будет человеку, ежели у него книжки супротив царя найдут?

– Тюрьма по нонешним временам. Смотря какие книжки. За иные могут и в сибирскую ссылку сослать!

– Ну беда!

– У кого такие книжки нашли в Кушве?

– Да у студента, жительствующего у купца Глыбина.

– Бедняга хлебнет горя.

– С кем лясы точишь, Семеновна? – спросила, спускаясь в кухню по лестнице Щукина, но, увидев пришельца, пошла к нему навстречу.

– Пришел, Иннокентий Захарыч? Легок на помине. Только недавно с Анфисушкой про тебя вспоминали. Пойдем наверх. Обрадуем болящую.

– Ревматизм донимает?

– И не говори.

– Плохо обихаживаете. Сейчас я с ней потолкую.

Макаров взял с лавки связку книг.

– Поди, интересные на сей раз привез?

– Заказывали мне графа Толстого Льва Николаевича творение «Война и мир». Хорошим изданием разжился.

В столовой на столе, заставленном всякой снедью, возвышался самовар. Возле него в кресле Анфиса Михайловна Воронова, а по правую руку от нее Макаров. Хозяйке дома он тоже давний дружок. Вместе перемывали пески на прииске в годы молодости. Правда, Макаров раньше ее ушел от песков в сторону, занявшись книжной торговлей, а теперь уже тридцать лет занимался этим, имея в Екатеринбурге книжный магазин. Это Макаров приохотил Воронову

к чтению. С мужем ее дружил, детей хорошо знал. Одним словом, все ведая о богатом доме, частенько навещал его.

Чаевничать они начали под разговор о новых книгах. Однако Макарову хотелось поскорей узнать, есть ли вести от Ксении Вороновой из Сибири, но спросить медлил, боясь разволновать Анфису Михайловну, зная, как она тяжело переживает разлуку с дочерью. Но неожиданно Воронова спросила Макарова о его недавнем аресте в Уфе. Он, помрачнев от вопроса, ответил:

– Арестовали в ночное время. Ночевал у приятеля-железнодорожника. Донос был на меня. Обвиняли в торговле запрещенной литературой.

– А ты впрямь ею торговал?

– Не прерывай. Про то тебе знать незачем.

– Правду стал от меня утаивать?

– Не всякую правду должна знать. За нее я два месяца на койке отлежал.

– Неужели били?

– Было дело под Полтавой. Теперь обучен битьем полицейского кулачка. Да и нагаечку изведал, и того есаульчика, забайкальского казачка, хорошо запомнил на всякий случай.

– Не томи. Нашли у тебя ту литературу?

– Как не так! За то и били, что найти не смогли. Времена тугие, Михайловна, по всему царству российскому. В Кушве тоже казаки гостили.

– Не без этого. Только управитель потребовал убрать их от нас. Народ рабочий из-за них волновался.

– Чепуху говоришь, Михайловна. Воля управителя в этом деле малюсенькая. Убрали от вас казаков по другой причине. В другом месте понадобились. Беспокойно на Южном Урале. Не утихает народ на заводах и приисках подле Таганая. Туда их погнали. Нонешний год, пожалуй, не лучше пятого и шестого окажется. Обманный манифест государь подарил людям.

– А ты почем знаешь про такое?

– Про многое знаю.

– Смотри! Гни деревцо по силе. Зря нос суешь в такое дело. Сам говоришь, что за книжки два месяца отлежал, а за что другое на дольше ляжешь.

– Ходить по земле слепцом при зрячих глазах не обучен. Кто я? От какого корня? От простонародного, а посему до всего народного мне дело. Теперь слушай мой наказ Власу. Должен к нему пожаловать в гости князь Мещерский из Петербурга.

– Зачем ему Влас понадобился?

– Про то не ведаю. Но ведаю, что сей князь гостил в Перми у губернатора. Бывал у владыки. В отдельном поезде побывал уже в Лысьве, в Екатеринбурге и в Тагиле. Сводит знакомства с промышленниками и купцами. Со всеми, кто возле золота. Одним словом, скажи Власу, что будет у него этот князь непременно. Предупредить об этом велел старик Уткин из Тагила.

– Неужели опять зачнет разговор про Ксюшу?

– Нет! Разговора о Ксении Власовне не будет. После узнаем от Власа, о чем будет с ним князь беседовать. Пока тут наше дело сторона. Но предупредить Власа не позабудь.

– Сам лучше ему скажи.

– Нет, Михайловна, я седни у тебя будто и не был. Пришел к вам по черному ходу. Поняла? Не был я у тебя. Время такое. За мной присматривают. Знают, что от кое-чего в сторону не сворачиваю. Вот так! Теперь, Михайловна, переворачиваю стакан на блюдце вверх дном и благодарю за доброе угощение. Здоровье береги. По совету доктора старайся меньше в постели нежиться. Болят ноги, а ты все равно ходи. Хоть через силу, а ходи! Ревматизм упрямых не любит и отстанет от тебя. На слово мне верь.

3

Накануне прибытия Мещерского в Кушвинкий завод к Воронову в обеденное время заявился пристав. С непривычной для него вежливостью сообщил золотопромышленнику, что столичный сановник во время пребывания на территории Гороблагодатского округа будет пользоваться гостеприимством управителя завода. Желая, видимо, подчеркнуть особое внимание сановника к Воронову, пристав подобострастно предупредил, что князь в день прибытия изъявил желание в шесть часов вечера посетить его дом для беседы. Прощаясь, пристав шепотом настойчиво попросил Воронова, по княжеским соображениям, сохранить от всех тайну сановного визита. После ухода пристава Воронов неожиданно посоветовался с женой, где ему надлежит принимать гостя, и, к удивлению Анфисы Михайловны, без обычного препирательства согласился с ее мнением принимать князя в парадном зале.

4

Влас Воронов в ожидании Мещерского шагал по просторному залу, залитому светом электричества. Шаги у Власа тяжелые, потому мужчина дородный при коренастом складе. Ступни ног плотно вдавливаются в гулкой тишине зала. Седые волосы Власа подстрижены бобриком. Все мужики в роду стриглись на такой фасон, и сделана запись в родовой книге, чтобы грядущие поколения не вздумали менять канон обихода за волосами. Лицо Воронова, несмотря на стариковские морщины, без дряблости мускулов. На правой его щеке шрам от ножевой раны, полученной в драке в молодости, когда в глухих урочищах Урала отыскивал исток своего прочного и видного места возле золота. В аккуратной бородке в седине заметны черные волоски.

Прохаживаясь по залу, Влас старался угадать, зачем он понадобился сановнику. Заставляло об этом думать предупреждение тагильского промышленника Уткина.

Уже который раз в разуме копошилась мысль, что сановник имеет интерес к уральскому золоту. Вышагивая, Воронов посматривал в окна. Заметил гнедую управительскую тройку, остановившуюся у дома. Видел, как из санок вылез столичный сановник и важно направился к парадному крыльцу. Воронов решил пойти и встретить его в прихожей. Из распахнутой двери зала вышел к широкой лестнице с золочеными перилами, украшенными вырезанными из дерева венками, сплетенными из роз, начал спускаться по ней, наблюдая, как в прихожей горничная учтиво помогала сановнику раздеваться. Оглядев себя в зеркале, князь, обернувшись, увидел перед собой склонившегося в поклоне хозяина.

– Милости прошу, ваше сиятельство!

Гость подал руку и произнес:

– Князь Мещерский. Имею честь видеть господина Воронова?

– Его самого. Прошу в зал.

Оба медленно поднимались по лестнице. Гость шел, держась рукой за перила. Воронов рассматривал гостя. Князь в раззолоченном мундире дворцового ведомства с орденами и звездами. Поднявшись на площадку второго этажа, князь остановился и, пересиливая учащенное дыхание, спросил:

– Какой же это мастер так великолепно украсил лестницу? Такая поразительная резьба. Прелестно!

– Дружок мой, ноне покойный, Григорий по прозвищу Зобатый. Да и теперь в нашем краю всяких умельцев избыток. На Урале не хуже, чем в Туле, могут блоху подковать.

– Неужели? По пословице живете. Всяк кулик свое болото хвалит.

– Урал, ваше сиятельство, Урал и есть. Диковинна его горная земля в государстве.

– Конечно, конечно!

– Прошу в зал.

Князь, войдя в зал, увидев его убранство, остановился и произнес:

– Прелестно, – осматривая зал, потирая руки, заговорил. – У вас в Кушве морозно.

– Январь в этот год с лютостью на стужу.

– Но воздух такой чистый, что дышать приятно.

– Прошу садиться.

– Сначала позвольте полюбопытствовать. Кое-что в зале привлекло мое внимание. К примеру – картины.

Мещерский подошел к развешанным на стенах картинам и, внимательно рассматривая, спросил:

– Неужели полотна Шишкина?

– Никак нет. Творения Денисова-Уральского.

– Скажите, пожалуйста! Оказывается, на Урале есть живописцы?

– Сего живописца и в столице знают.

– Может быть. Но лично слышу о нем впервые. Пишет неплохо.

– Что и говорить – молодец! Мы почитаем его за певца Урала.

Князь, не слушая хозяина, заинтересовался лежавшей на полуогромной медвежьей шкурой.

– Вот так зверь!

– У нас они всякие водятся. Этого чертушку лет пять назад добыл на Таганае. Поднял из берлоги на рогатину.

– На рогатину? Не может быть! – Князь перевел взгляд на Воронова и, покачав головой, согласился со сказанным: – Да, вы из себя не хилый.

– Была силенка, но старость ее поубавила.

Князь сел в кресло, откинувшись к спинке.

– Вынужден заметить, господин Воронов, что живете неплохо. Электричеством обзавелись.

– А как без него? Оно теперь в государстве силу набирает. От любых новшеств не отворачиваюсь.

– Прелестно и похвально. А какая удивительная мебель!

– Чему дивитесь?

– Уникальная мебель. И где достали такую?

– Об этом супруга позаботилась. Украшением в доме житья-бытья она ведает. У нас и не такое можно сыскать. На Урал за прошлые века всякие господа да вельможи немало диковинного с собой натащили.

– Похвально! Вынужден не скрыть от вас, что по описанию ваших друзей представлял вас более простоватым и грубым. А вы иной. Приятно в глуши встретить человека, не чуждого культуры цивилизации.

Князь достал из кармана портсигар и раскрытым протянул его Воронову:

– Попробуйте новый сорт осмоловского табака.

– Благодарю!

– Не курите?

– Употребляю махорку.

– Мой бог! Да это просто ужасно! И жена вам позволяет курить такую мерзость?

– На воле балуюсь куревом. Жена у меня на сей счет строгая.

Мещерский, раскурив папиросу, кладя спичку в пепельницу, стоящую на столике, обратил внимание на рамку с фотографией миловидной девушки. Взял рамку в руку, рассматривая, спросил:

– Кто такая красавица?

– Ксения. Дочь.

Князь поставил рамку на стол.

– Слышал о ней. Огорчила и даже опорочила вас.

– Это как взглянуть.

– Но ведь она сослана в Сибирь?

– Теперь туда многих ссылают. Молодежь испокон веков не по нашим вкусам живет и мыслит. В молодости и у вас, поди, бывали мысли о несогласии с государственными порядками?

– Господь с вами, господин Воронов! Подобных мыслей у меня не могло быть. Мое воспитание, а главное, происхождение не могли допустить в сознание помышлений против самим Господом благословенного государя императора.

– Дочь свою я тоже крамоле не обучал. Сама дозналась в Москве.

– Чрезмерно опасны подобные идеи.

– Сами, ваше сиятельство, в том повинны, что плохо присматриваете за молодежью, вот она и начинает выражать всякие неудовольствия. Но ведь их за это наказывают. Даже стреляют в них. Мою Ксению тоже по головке не погладили за опасные мысли и шестью годами в Сибири одарили.

– Вот и хорошо! Пусть в сибирской стуже поразмыслит о будущей жизни, а, поразмыслив, не станет порочить отцовские седины.

– Это для меня дело прошлое.

– Прошлое? Но малоприятное прошлое.

– Не ваша забота о сем, – резко сказал Воронов и, встав, прошелся по залу.

– О вас, господин Воронов, мне много лестного сказал в Екатеринбурге горный начальник.

– Мало он меня знает.

– Но судит о вас со слов людей, коим доверяет.

– Зря. Я обучен жизнью по чужим словам о людях не судить. Сам узнаю их по делам.

– Так же поступаю и я. Доказательство этому мой визит к вам, хотя вы и отказались приехать ко мне в Тагил, когда приглашал вас. Почему не приехали?

– Потому что не вы мне, а я вам нужен.

– Оригинально мыслите.

– По-вороновски. Не мальчонка, на любой зов бежать.

– Не ладится у нас с вами беседа.

– Зряшная, потому и не ладится. Больно по-барски со мной беседуете. Памятуя, что происхождение мое мужицкое.

– А может, от другого не налаживается беседа? Оттого, что не знаете, зачем понадобились мне.

– Об этом догадываюсь. Сужу по вашим беседам в Лысьве, Екатеринбурге и в Тагиле. Доложите, ваше сиятельство, о причине заезда в мой дом.

– Пермский губернатор, господин Воронов, был, оказывается, прав, аттестуя вас как человека с трудным по складу характером.

– Вот губернатор знает меня неплохо. Не разок сшибались мы с ним в спорах по разным вопросам.

– Но мнения о вас он неплохого. Однако поговорим лучше о цели моего визита.

– Слушаю. – Воронов сел в кресло напротив Мещерского.

– Прибыл к вам по важному для империи делу. Но прежде условимся, что беседа наша при удаче и неудаче должна быть секретной и при этом сугубо секретной.

– Хорошо.

– В сферах сановного и финансового Петербурга имеются сведения о вашем замысле создать на Урале синдикат золотопромышленников. Замысел ваш, конечно, вполне ясен. Им вы намереваетесь мешать проникновению в золотопромышленность Урала иностранного капитала. Кое-какие иностранные анонимные общества, благодаря вашему замыслу, оказались в неприятном положении. Например, госпожа Зотова отказалась продать свои прииски одному такому обществу.

– Знаю. Хвалю Прасковью Зотову за такой поступок. Женщина не без царька в голове.

– Напрасно одобряете ее поступок. Ставлю вас в известность, что навестил Пермскую и Уфимскую губернии по желанию высоких особ столицы, поддерживающих право иностранного капитала на уральскую промышленность. К сожалению, госпожу Зотову повидать не удалось. Пребывает за границей на лечении. И мне посоветовали о многом поговорить с вами.

– Пожалуйста.

– Прежде всего, правда ли, что, узнав о намерении Зотовой продать свои прииски, тотчас предложили ей более высокую цену и приобрели их в собственность?

– Сущая правда!

– Прелестно! И говорите об этом так спокойно.

– А чего волноваться из-за такой обычной сделки?

– Тогда объясните, почему с такой непримиримостью восстаете против иностранного капитала?

– Воров иноземных не люблю, потому своих немало. Иноземец нынче лезет на Урал к его богатству с подлостью личной наживы.

– Но ведь и вы наживаетесь?

– Так я русский, ваше сиятельство!

– Забываете из-за своего порочного патриотизма, что именно иностранный капитал несет прогресс в нашу промышленность. У него передовая техника!

– Она и у нас заводится от разума своих умельцев и ученых людей. Черепановы раньше иноземных умников до многого додумались.

– Пора вам уразуметь, что наша золотая промышленность нуждается в совершенствовании.

– Машины всякие мы покупаем у иноземцев. Работать на них учимся. Хвалите иноземцев, потому глядите на них с выгодной вам стороны. Забываете, что и у нас есть своя сторона, с которой видим их. Послушаешь вас и узнаешь, будто богатые иноземцы невесть какие благодетели возле уральского золота. Слава богу, разглядели иноземцев, кои успели примазаться к уральским богатствам. И уразумели, что они учат нас, как ловчее объегоривать царские законы да обворовывать земные богатства уральской земли.

– Погодите, господин Воронов! – Князь, встав на ноги, прошелся по залу. – Говоря так, вы уподобляетесь примитивному мышлению ваших смекалистых мужичков без роду и племени, случайно разбогатевших. Хотите своим замыслом позволить им быть хозяевами края?

– А кто, как не смекалистые мужички без роду и племени богатства Урала разведали?

– А сколько из-за них рабочий народ горя претерпел!

– К этому, ваше сиятельство, дворяне руку приложили, охомутав работный люд упряжью крепостного права.

– Но вы же одаренный человек, сколотивший на Урале такое огромное состояние, а не хотите понять, что ваш замысел о синдикате только для русских промышленников опасен для государства.

– Чем?

– Многим. Неужели не знаете, что иностранным анонимным обществам покровительствуют знатные люди империи?

– Понимаю, о чем вы говорите. Даже великие князья не прочь стать их компаньонами, а все оттого, что с нами, мужиками, иметь дело гнушаются. Я это испытал. Великий князь Кирилл возымел намерение купить у меня лесные угодья, а я не продал.

– Почему? Из самодурства?

– Вовремя узнал, что он покупал для иноземного капиталиста. Отказом князя, конечно, обозлил. Схватить меня за шиворот не смог, но на судьбе моей дочки отыгрался, приказав найти против нее политические улики покрепче.

– Тише, господин Воронов. Как смеете клеветать на великого князя?

– Неужели донесете ему? Ежели секретный разговор у нас, так во всем пусть будет секретным. Вот про рабочих помянули. Мы от недавних рабочих беспорядков немало тревоги пережили. Революция и мне страшна. Грамотный. Разбираюсь, что ожидает меня, случись такая беда. После девятьсот пятого я узнал, что для тех, у кого капиталы, придумана наука марксизма. Про нее ведомо нашим работягам, и понятна им их выгода от нее. Уральский рабочий своебышный по характеру, да и по разуму не простак. Давайте начистоту. Приехали в край по воле Победоносцева? Ведь возле него густо грудятся иноземцы.

– Узнали?

– Догадался. Да и услыхал от тех, с кем против меня сговаривались. Надеялись, что увидит ваш мундир богатей-мужик и со страху разом открестится от замысла Власа Воронова? А ошиблись.

– А вы не думали, что от вашего самостийного поведения в крае может совершенно внезапно пострадать ваше личное преуспевание и благополучие?

– Этим не стращайте! Вашим покровителям разорить меня не под силу, несмотря на все мундиры и титулы. За мной закон империи, да и государь пока на престоле пребывает. Ведь не ошибусь, ежели скажу, что сами готовы работать с иноземцами в кампании. А то, может, у вас нужда в деньгах завелась? Тогда дозвольте спросить, почему не пришли к нам с просьбой оказать вам посильную помощь? Мы бы вас в компанию приняли, чтобы вы наши интересы в столице защищали от сановных хапуг и взяточников.

– С русскими нельзя создать ничего грандиозного. Мы же склочники и завистники.

– Историю плохо помните, ваше сиятельство. Позабыли мужичка русского, кой Россию-матушку до самого Тихого океана дотянул? Мне понятно, почему именно в этом году к нам пожаловали, чтобы уговорить меня отказаться от замысла не пускать иноземцев к русскому золоту. Время выбрали удачное. В крае неспокойно. Казаки с жандармами круто наводят порядки. Стращать богатых мужиков легче. Откажись, Воронов, от упрямства, а то смотри, сам за дочерью в Сибирь последуешь по этапу. Вот недавно у сына моего обыск учинили. Но Воронов, ваше сиятельство, не из боязливых. Не станет он помогать иноземцам выжимать пот из русского мужика, потому сам мужик, случайно разбогатевший. Напрасно встали в ряды защитников иноземцев, желающих не мытьем, так катаньем покрепче ухватиться за уральское золото. Зря стараетесь выставить порядочными людьми иноземных мошенников. Рвутся они к нам заниматься беспощадным воровством и грабежом, как начали его при императрице Анне Иоанновне. Побывали вы у многих промышленников, и без успеха. Предателей родного края среди них не нашлось. Друзья мои, в чьих руках золотоносные пески, меня не продали по предложенной вами базарной цене.

– Почему не хотите понять, наконец, что за спинами иностранцев вам легче будет отстаивать свои интересы перед рабочими? Вы же от них последние годы терпите большие убытки. Они нагло залезают в ваши карманы.

– О сем опять не ваша забота. Народ спорит не с сановниками о своей судьбе. Не следует вмешиваться в этот спор. Ни дворянам, ни купцам, ни нам, промышленникам, спор этот радости не сулит, и не в нашей власти его пресечь. Еще раз заверяю вас, что за мой замысел обви-

нить меня в крамоле не удастся. В революционерах не значусь, но защитником права русского человека на земле уральской являюсь и не сверну с сего пути, пока во мне шевелится сердце.

– В таком случае выслушайте новое деловое предложение. Предлагаю вам, отказавшись от создания синдиката, негласно для уральских промышленников, встать во главе представляемого мной анонимного общества. Ваш опыт и знания.

Воронов раскатисто засмеялся:

– Ну спасибо, что напоследок все же развеселили. Премного благодарен! Надумали почетом соблазнить? Как же это вдруг мужика хотите в начальники над собой поставить? Увольте. Не охотник до такой чести.

– Очень горестно, что из-за упрямства не хотите понять выгоду для вас моего предложения. Ведь иностранными капиталами мы будем распоряжаться, как захотим.

– Понял. Только мне предложение ваше не к лицу. А теперь, думаю, подошло время вам у меня отужинать.

– Как? После столь неприятной беседы?

– Неужели откажетесь?

– Нет! Мне наш разговор понравился. Человек вы действительно самобытный. В России теперь правду в глаза редко можно услышать.

– Запугали людей по-хорошему. Вот и держат языки на привязи. Стороной узнал, что к рябчикам желание испытываете, и решили с женой вас ими угостить. Нонче рябчики в хорошем теле. На бруснику урожайный год. Пожалуйте в столовую, а то жаркое перепарится у моих стряпух.

– Прелестно! Только прошу, господин Воронов, хранить о нашей встрече полный секрет. Мне это просто нежелательно.

– Да разве не понимаю, ваше сиятельство, что нежелательно.

Выходя из зала, Мещерский остановился перед большой картиной, на которой написаны Уральские горы.

– Где такое красивое место?

– Это гора Уренга возле Златоуста.

– Повторите еще раз фамилию художника.

– Денисов-Уральский, ваше сиятельство…

5

На дорогах Красноуфимского уезда вторые сутки людскую жизнь нудили снегопады с переплясами метельного ветра.

В Билимбаевском заводе непогода вынуждала гужевые обозы сворачивать с большого Сибирского тракта на постой в заезжий двор Савелия Грибкова.

Хозяйство деда Савелия в округе с доброй славой. Стоит на бойком месте за околицей завода, где его головная улица выводит к столбовой дороге в Сибирь.

Савелий Грибков, выполняя замысел родителя, выбирая место для заимки, не промахнулся, углядев в елово-пихтовом лесу просторную поляну с овражком шустрой горной речки. Место укромное. Всякому на глаза лезет. Укрытое со всех сторон от ветров живыми заплотами леса запомнилось за годы ямщикам и приманивало их со всякими обозами по пути в Сибирь и обратно, особенно в зимнюю пору, когда частенько буранило, студило и переметало пути.

Билимбаевский чугунно-плавильный и железоделательный завод численностью жителей не очень богат. В крае почитается в числе «вековых», так как его первый чугун вытек из домны в 1734 году. Принадлежал он к майоратному имению графа Строганова, и дымили его трубы возле устья реки Билимбаихи…

В горнице, на хозяйской половине заезжей избы, настенные часы в черном лакированном футляре, шевеля медный подсолнух маятника, пересчитывали секунды шестого вечернего часа. Горела висячая керосиновая лампа под железным абажуром, похожим на раскрытый зонт. Свет подсвечивал бурые бревенчатые стены, похожие по цвету на медвежью шерсть. На окнах пестрые ситцевые занавески. Вдоль стен – лавки, крашенные охрой. Нависают до половины горницы широкие полати. В оконных простенках висели потускневшее зеркало и две лубочные картинки на исторические сюжеты в самодельных рамках из сосновой коры. На одной – в лесной зимней глухомани Иван Сусанин, окруженный поляками с саблями наголо, на второй – фельдмаршал Кутузов на военном совете в Филях. В красном углу – стол под холщевой скатертью. За ним читал книгу Иннокентий Захарович Макаров в строгом черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы.

Хозяин заимки Савелий Федотович Грибков сидел возле рукомойника и чинил хомут. На нем посконная рубаха, расшитая синим гарусом по вороту и подолу, а поверх нее жилет из косульего меха. Обликом Савелий – богатырь. Пряди седых волос, как у попа, ложились на плечи. Кривой на левый глаз. Пустая глазница прикрыта серебряным рублем, и держится он в глазнице на кожаном ремешке, повязанном наискось головы. На лавке у окна, прислонившись к стене, сидел Макарий Бородкин в бархатном жилете поверх синей рубахи.

С ямщицкой половины в приоткрытую дверь доносилось хоровое пение под аккомпанемент гармошки, песня про огненный мелкий дождичек. Ямщики пели слаженно. Соло вел чистый тонкий тенор, а басы в хоровой мелодии рокотали то приглушенно, то выводя колена октавы. Песня – верная спутница ямщиков в тепле постоя и на холоде в дороге. Песня одухотворяла их воспоминания. Напевами и словами, берущими за душу, выжимала из глаз трезвую слезу, оброненную в тоскливую минуту, о дорогих людях по пути в далекую таежную сторону. По пути по тракту, на котором пошаливают ножами худые люди, на котором иной раз приходится сворачивать на сугробные обочины, уступая дорогу людям под конвоем солдат с примкнутыми штыками. И кто теперь не знает, что на тракте частыми стали путники с кличкой «государственные преступники», обряженные в арестантские халаты за помыслы о жизни Российского государства без наименования империей, без Божьего помазанника из династии Романовых на царском троне…

Макарий Бородкин оказался в заезжей избе случайно. Добирался с порожней подводой до Бисертского завода, но в пути ямщик занедужил животом, решив у деда Савелия в тепле пересилить хворость.

В Бисертский завод Бородкин направился на встречу с товарищем по партии Степаном Лыковым, также избежавшим ареста после забастовки. Бородкин узнал об этом случайно, повстречавшись в Екатеринбурге с женой Еворенкова и получив от нее адрес. Работал Лыков теперь на шахте Косогорского железного рудника неподалеку от Бисертского завода.

Старика Макарова посетить заимку заставила разгулявшаяся метель. Ехал он с книжным товаром в Красноуфимск с намерением по пути побывать на некоторых заводах.

Бородкин, встретившись с Макаровым, узнал в нем владельца книжной лавки в Екатеринбурге, в которой бывал не один раз. Но Макаров, конечно, Бородкина не знал.

Допетая песня смолкла, но гармошка повела мотив вальса, а скоро с него перешла на мотив новой песни. Тягучий у нее мотив со словами про дикие степи Забайкалья, про бродягу и про ветер баргузин над Байкалом.

Перестав работать, Савелий, вслушиваясь в песню, попросил Бородкина отворить дверь в ямщицкую.

Густой баритон запевалы мощно вливался в хозяйскую горницу. Слушая пение, Макаров перестал читать, Бородкин стоял у раскрытой двери.

– Трофим запевает. Умеет мужик слова на голос класть. В песне душевность – основа трогательности. Ты, Захарыч, кажись, сам певун? – спросил Савелий.

– Певал в молодости, – ответил на вопрос Макаров сокрушенно. – Теперь в голосе старческая надтреснутость. Но все равно частенько пою в дороге. У моего кучера хороший голос. Подпеваю ему и будто не мешаю.

Закончилась и эта песня. Снова гармошка выводила рулады вальса, который Бородкин не раз слышал в Екатеринбурге. Играл его в городском саду на гулянии военный оркестр.

– Дозволь полюбопытствовать, Макарий Осипович, не по первости навестил наши места? – спросил Бородкина Савелий.

– На Урале впервые. Удостоился, наконец, повидать вашу землю. Давно имел желание.

– Желание дельное. Камень наш в государстве особенное место… Диковинного в нем множество. А главное – золото. Оно всякого манит.

– Мое ремесло – торговля. На золото сноровка нужна. Приехал поглядеть на вашу торговлю. У хозяина намерение в ваших местах обзавестись торговым делом.

– Купцов своих у нас, прямо сказать, лишка. Конечно, может, у вас дельный товар, тогда другое дело.

Бородкин, заметив, что Савелий разглядывает его, спросил:

– Интересую вас?

– Гляжу на тебя с удивлением.

– Чем удивляю?

– Удивляюсь, что второй день живешь в моей избе, а как чужак нашему краю: не выказываешь свое неудовольствие теми или иными, на твой погляд, неполадками.

– К чему это издалека речь заводишь, Федотыч? – спросил, улыбаясь, Макаров.

– Издалека сподручнее спрашивать. О чем хочу спросить гостя: сказался он московским жителем и на мое удивление ничем меня не укоряет, ничем глаза не колет. Ведь оно как иной раз гость оборачивается. То ему не нравится, что у тараканов усы больно длинные, то клопы кусачие, хотя в моей избе их жестоко истребляю всякими народными средствами. Прямо боюсь, когда в избе не уральцы греются. Не поверишь, до чего народ из-за Камня поучать уральцев любит.

– Фантазируешь!

– Нисколечко, Захарыч, не балуюсь фантазией. Просто слушать приустал поучения чужаков. Все им у нас не по нутру. Заверяют, что мы самые темные люди. Поучают, что мы из-за своей горной одичалости не знаем ихой российской житейской мудрости, позабывая, что именно на Камень в старые годы снесена и укрыта в нашей заповедности самая что ни на есть доподлинная мудрость. Да вот, ноне, по осени что вышло. Везли в сибирскую сторону трех человек по политическому делу…

– К тебе-то они как попали? – спросил Макаров.

– Так полицейское начальство порешило, когда одного хворь прихватила. Поглядел на них, и жалко мне их стало. Захотелось с ними словом переброситься, когда стражников поблизости не было. Заговорил, а потом каялся. Один из них шибко злой на язык уродился. Кадетом его прозвали. Из себя выходил в разном бахвальстве о своей учености. Меня за добрую хлеб-соль с заботой в кровопийцы зачислил. Узнав, что я крестьянской кости, с издевкой насмехался над моей темнотой. Жалел себя, что из-за таких, как я, он губит свою жизнь за желание создать в государстве счастливую жизнь для простого народу. Я, конечно, показывал ему свои мозоли, дак куда тебе: иначе, как живоглотом, меня не величал. Вот ведь какие иногда у меня гостеньки бывают. Неделю они у меня жили, и каждый день злили поучениями. Лампадку с радости затеплил, как съехали. Неужели все политические с такой злобой в душе?

– Сам сказал, что хворые.

– Языкатой-то не хворый, но не приведи бог, какой табашник. Без устали смолил папироски.

Савелий, замолчав, снова начал внимательно со всех сторон осматривать чинимый хомут. Бородкин, остановившись около него, спросил:

– Сами на уральской земле родились?

– Нет. Завезенный на нее. Обретаюсь здеся пятьдесят восемь годков. Попал на Камень с родителем не по своей воле.

– Откуда родом?

– Костромич. Волжской водицей умытый и напоенный. Пареньком был тогда по пятнадцатому году. Барин, не будь ноне добром помянут покойник, в Катеринбурге перепродал меня из крепости в крепость доверенному графа Строганова. У того в ту пору нужда была в рабочих руках. Не поверишь, поди. При покупке меня с родителем, приказчики графовы пальцами в наших ртах ковырялись, зубы пересчитывая.

– Кто барином был? – спросил с удивлением Макаров.

– Как кто? Небольсин Михайло Павлович.

– Не может быть!

– Верно сказываю, Захарыч.

– А ты, Федотыч, оказывается, затайник. О многом с тобой не раз беседовали, но про Небольсина помалкивал.

– Опять же почему так получилось? Оказия к такой беседе не выходила. Сам тоже не больно открыт душой. О себе мне тоже про многое промолчал. Лонись[5] стороной узнал, будто до своего книжного занятия возле золотых песков потом исходил и будто в те годы сдружился с будущей супругой Власа Воронова. Что скажешь? Правду слышал про тебя, али зря слушок с языка спустили? У нас любят темнить друг друга.

– Правду.

– Вот видишь, а меня коришь. Седни сказал про барина, потому Макарий Осипыч вопросом ту нитку в памяти дернул.

– Когда строгановским стал?

– В 1851-м. Царь Николай Палыч еще в живых значился. А володел Уралом по своему наитию генерал Глинка. Ох и генерал был! И лютый, и ласковый. И собой такой видный, как и подобает генералу. Ноне они смельчали.

– В каком же месте вначале очутились у Строганова? – спросил Бородкин.

– Здеся, на Билимбаевском.

– На домне работали?

– Спас Бог от доменного жара. Родитель был мастаком по красному дереву. В управительском доме до сей поры перила, лестницы в парадную залу его работы. Глаз не оторвешь, как излажены. Вот по этой причине определили отца ладить для графских имений и дворцов затейную мебель. Ну а я, конечно, стал у отца пристяжным. Правду сказать, знамо дело, нам посчастливилось, что оказались в Билимбае. Управителем завода об ту пору был отпущенный на волю крепостной человек, обучившийся по приказу графа горнозаводскому делу в чужой стороне. По характеру был с душевной струной к подневольным людям. Понимал. Сам опреж[6] вольности натирал мозоли на шее крепостным хомутом. Жил бобылем, да и здоровьем был не шибко крепок. Очки носил с двумя стеклами, потому, видать, что со всякими книжками инда в постели не разлучался. Увидал меня и приказал быть подле него. Присматривать за порядком в доме. Прожил я эдак с ним восемь лет… – Савелий, задумавшись, замолчал. Встал, подойдя к рукомойнику, помыл руки, а вытирая их полотенцем, продолжил разговор: – В год, когда воля вышла, управителя хозяева позвали в Петербург. Прощаясь со мной, отдарил он меня двумястами рублей. Батюшка на них арендовал у завода эту поляну, и поставили

[5] Лонись – в прошлом году (*обл.*).

[6] Опереж – против.

мы заимку. Сперва она была не такой, как сейчас. Тут семейным стал. К охоте пристрастился. Хозяйка мне дельная досталась. Да только вроде по моей вине ране времени померла. А как вышло… – Рассказывая, Савелий налил в самовар воды, разжег его и поставил кипятиться. – А вышло такое дело. Оплошал я зимой на охоте. Медведь-шатун подмял меня под себя да когтем вырвал левый глаз. Супруга моя с горя по моему глазу ужасти как убивалась и нажила головную болезнь. И, царство ей небесное, оставила меня вдовцом на пятьдесят восьмом году.

– Детей не было?

– Рождались, да только малолетками помирали. Удушие на них нападало. Стало быть, Макарий Осипыч, ты у нас по первости? И все же, сдается мне, что тебя золотишко сюда заманило.

– Сказал, что послан хозяином торговое дело понюхать.

– Врешь! Обозначаешь себя приказчиком, а по рукам ты вовсе рабочий.

– На мельнице начинал приказчичью должность. Мешки таскал.

– Пальцы у тебя натружены. От мешков ладонь раздается, у тебя в пальцах ремесло.

– Острый у вас глаз.

– Потому один за два высматривает. – Савелий не торопясь поставил на стол посуду, вазочки с медом и кусковым сахаром. Нарезал большими ломтями ржаной хлеб от каравая. – Так скажу, Макар Осипыч, и соврать мне Захарыч не дозволит, ежели обозначился на Камне с добрыми помыслами, то всегда найдешь осередь нас крышу и кусок хлеба. Камень он камень и есть. Народишко на нем живет особый по характеру. Если ты к человеку лицом, то и он тебе спиной не обернется. С кулаком к нему сунешься, сдачи даст по-доброму. А главное, наш народ хвастунов не жалует, у коих своего разума нет, а трясут языком с чужого наущения.

Наставления Савелия прервали донесшиеся с воли крики и ругань. Визгливый голос требовал немедля открыть ворота. Савелий прислушавшись, проворчал:

– Расхайлался. Пойти узнать, кто это злобу на мороз выплескивает?

Но Савелий не успел дойти до двери, как она распахнулась, и в избу вбежал молодой парень.

– Кто орет? – спросил его Савелий.

– Хозяин, конные фараоны пожаловали. Пустить велят.

– Пойдем.

Савелий и парень ушли. Бородкин заметил, как торопливо встал из-за стола Макаров. Достал из грудного кармана сюртука маленький сверток и хотел сунуть его за иконы.

– Опасно, Иннокентий Захарович. Давайте лучше мне, – ответил Бородкин.

Макаров, взглянув на Бородкина, отдал ему сверток, а Бородкин сунул его в валенок.

Дверь распахнулась во всю ширь, и в горнице появился высокий молодой пристав. За ним вошли два стражника и Савелий. Оглядев бывших в горнице, пристав удивленно спросил:

– Неужели всего только двое постояльцев?

– Никак нет, ваше благородие! В той половине полно ямщиков.

– То мужичье, – пристав осмотрел комнату, приказал городовым осмотреть ямщицкую половину. Шагая по горнице, ударяя себя нагайкой по голенищу сапога, осматривая пытливо Макарова, спросил:

– Если не ошибаюсь, вы являетесь господином Макаровым, владельцем книжной лавки в Екатеринбурге?

– Да. Но арест был ошибочным.

– Это вы так считаете. А я считаю, что нет дыма без огня. Для меня важен сам факт ареста. Личностью вашей я уже интересовался, на всякий случай, для будущего, – Пристав, подойдя к двери в ямщицкую, крикнул: – Внимательно всматривайтесь в рожи! Куда путь держите, господин Макаров?

– Еду в Красноуфимск.

– А почему здесь оказались?

– Пережидаю непогоду.

– Понимаю. Действительно пренеприятная непогода, но как будто утихомиривается. Едете с книгами?

– Да.

Пристав, без причины улыбнувшись, шагнул к Савелию и, ткнув его черешком нагайки в грудь, спросил с выкриком:

– Кто от тебя рано утром на тройке укатил?

– Никто.

– Врешь, сукин сын! Кто укатил, спрашиваю? Бить буду за вранье.

– Ваша воля.

– Ваша воля… Прикидываешься? Укрываешь? Господин Макаров, действительно здесь, кроме вас, двоих никто не ночевал?

– Никто.

– Понимаете, ловим купца, увезшего из Екатеринбурга малолетнюю купеческую дочку.

– И вас заставляют за ним гоняться?

– Как видите. Какие книжки везете?

– Художественную литературу.

– Конечно, и Толстого везете?

– Да. Будете смотреть?

– Нет. Вы не так глупы, чтобы после ошибочного ареста заниматься непозволительной торговлей. А ты кто такой? – обратился пристав к Бородкину. – Паспорт!

Бородкин неторопливо достал паспорт и отдал приставу. Тот, перелистав его страницы, спросил:

– Значит, мытищинский мещанин? Где находятся эти Мытищи?

– Около Москвы, господин пристав.

– Зачем на Урале?

– Состою приказчиком купца Ягодкина, и послан хозяином поглядеть на здешнюю торговлю.

Из ямщицкой половины вернулись стражники:

– Не обнаружили, ваше благородие.

– Ступайте и осмотрите двор.

Стражники козырнув, вышли из горницы. Пристав вернул Бородкину паспорт:

– Шляешься от безделья. Сидел бы в своих Мытищах. Дед!

– Слушаю, ваше благородие!

– Почему долго не отпирали ворота?

– Из опасения. Сами знаете, что по осени варнаки, назвавшись полицией, ограбили моих постояльцев.

– На все вопросы ответы находишь. Смотри у меня, умник-разумник. Пойдем во двор!

– Может, сперва чайком погреетесь? Чать, непогода.

– Некогда, – ни с кем не прощаясь, пристав направился к двери.

Савелий попросил Макарова:

– Погляди за самоваром, Захарыч.

После ухода пристава Савелия Макаров снял с самовара железную трубу. Надел на самовар конфорку и поставил его на стол. Со двора доносились голоса. Скоро они стихли, и только лаяли потревоженные собаки.

Бородкин достал из валенка сверток и вернул Макарову.

– Спасибо! А ведь Савелий прав: руки у вас действительно рабочие.

– Пусть будет по-вашему.

– Почему не спросите, что в свертке?

– Зачем? Понял, что ценен для вас, если хотели от полиции спрятать.

– Может быть, завтра со мной поедете?

– Спасибо!

В горницу вернулся Савелий:

– Унес черт окаянных. Пристав этот с дурью в характере. Соврал про купца. Стражник знакомцем оказался, так и шепнул, что из пересыльной тюрьмы двое политических сиганули. Пристав этот на руку быстрый и всякого норовит словом принизить. С тобой, Захарыч, как непочтительно разговаривал. Давайте чаевничать! Чай теплом обиду с души сгонит…

Глава IV

1

Столбовая дорога реки Миасс в лесистой долине Ильменского кряжа. Возле Чашковских гор в котловине на берегах реки нашел себе место Миасский завод, а за ним путь к хрустальной воде Тургояк-озера. Живописны его берега, схожие с декорациями к древнему уральскому сказу. Каменными заплотами обгородили его горные хребты, проросшие сосновыми борами.

Шумят сосны. В их извечном шуме блазнится слуху старинный напев-наговор былин и сказаний, сложенных мудростью народа на избяной Руси до нашествий полчищ Батыя.

Любой старатель-следопыт, спрошенный о сосновых борах Тургояк-озера, надвинув на лоб заячью шапку, не торопясь ответит, что в их гуле чаще всего мерещится эхо набата, а иной раз вдруг напомнит напев колыбельной песни, а то тихий звон гуслей, струны коих шевелят старческие пальцы сказителя, про то, что было в стародавнюю пору.

Сторожат горы озеро, похожее на огромную хрустальную бусину в оправе броши из малахита. Шевелит любой ветер вершины сосен. Шумят они то минорными, то мажорными нотами, перепеваются с соснами озера Ильменя-Уральского, соседа Тургояк-озеру. О вечности природы шумят сосны. На комлях[7] сосен кора сине-серебристая с сединой, а у вершин золотистая с брызгами запекшейся крови. Залита кора слезами смолы, блестят ее капли на стволах, заросших зеленовато-серыми мхами. В борах Тургояк-озера нет лесной дремучести и бурелома. Светло и по-торжественному привольно в них.

Чашковские горы у озера на вид суровы. Крутыми лобастыми обрывами тонут в озере, а то засыпают его берега глыбами скал. В былое время скрадывались в них скиты староверов, хороня в борах истовость православной веры, занесенной в людские души и помыслы с далекой Руси, спасая жизнь от всяких смутных напастей в государстве.

Но подошло время, когда проведали люди про миасское золото, своим походом в поисках его и шумом жизни нарушили девственный покой сосен. Ушли с берегов озера скитники, затаптывая тайные тропы в неведомую глухомань лесных дебрей Большого и Малого Таганаев.

Менялись цари на троне Российской империи, и находили в Чашковских горах укрытие беглецы с заводских каторг, все те вольные духом и кремневые в непокорности работные люди, бежавшие в разные годы от ярма и кнута крепостного права, а теперь от хищной ненависти полицейского уклада, бытующего на русской земле.

Много схоронено тайного о людской жизни в сосновых борах Тургояк-озера, но его сосны, помня о людском страдании, хранят тайну.

В одном месте береговая поляна с соснами отгорожена от озерной воды иссиня-серыми скалами с молодыми сосенками на их маковках.

На просторе поляны умостилась заимка Анны Петровны Кустовой, и зовут в народе это место чаще всего Волчицын посад. Сруб хозяйского просторного дома под шатровой крышей слажен из толстых бревен. Тяжесть сруба легла на высокий гранитный фундамент. От земли в парадные сени вело резное крыльцо с гармошкой лестницы в пятнадцать ступней.

Из окон дома широкий огляд на простор Тургояк-озера с синеющими вдали силуэтами Собачьих и Потанинских хребтов. Вокруг дома крытый двор со службами, завознями и амбарами, за двором огород с банями, а чуть поодаль среди густого бора несколько приземи-

[7] Комель – толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем.

стых казарм. Поляна расколота глубокой щелью оврага, и бежит по нему, изогнувшись дугой, речушка, огибает Волчицын посад, вливается в озерную заводь.

Дом Анны Кустовой срублен лет пятнадцать назад. От осенних ненастий, от морозов, от ветров и солнца его сруб стал черно-серым. Посадила хозяйка под окнами десяток берез. За годы они разрослись, подняв вершины выше конька крыши.

2

Жалобными голосами выла вьюга. Гнала с просторов озера колючий, поднятый до самых небес, снежный туман. Наметала вьюга шевелящиеся сугробы у береговых скал, меняла их формы. Переползали сугробы волнистыми буграми к дому, поднимаясь до самых его окон. Раскачивал ветер березы, обламывал на них мерзлые ветки.

Вечером в хозяйской горнице на столе горела лампа под белым стеклянным абажуром, пестро расписанном розами и маками.

Заставлена горница мебелью, сундуками, прикрытыми самодельными тряпичными ковриками. В углу за пологом кровать.

Анна Кустова сидела на диване. На ее плечи накинута шаль. Над диваном, поблескивая медью, раскачивался маятник настенных часов. Шум их механизма напоминал по звуку шаркающие по полу шаги стариковских ног.

За столом в полосе света от лампы – молодая женщина, одетая и причесанная по городской моде, – нежданная гостья шадринская купчиха Лукерья Макаровна Простова. Она взволнованно рассказывала хозяйке о своем горе. Слушая ее, Анна Кустова думала, как год назад познакомилась с ней в Шадринске, когда ездила туда за крупчаткой. Ласковая по характеру женщина сразу расположила ее к себе. В рассказе Простовой было мало нового для Анны Кустовой. В словах гостьи ожила драма женской души в рабстве закостенелого купеческого быта в глухом уральском городе. Простова, ничего не утаивая, рассказывала жизнь женщины, попавшей во власть мужа, без понятий о каких-либо чувствах, знавшего только, что любое его желание должно быть выполнено женой с покорностью.

– Прииски отнять у меня Григорий Мироныч задумал с первого года замужества. Но пока жив был батюшка, исполнить свое желание он не смел. На мою беду, этой весной батюшка скончался. Тут муженек вплотную пристал ко мне с прииском. Нонешнее лето прожила у свояченицы в Долматове. Там он меня не тревожил. Но как только по осени воротилась домой, опять принялся уговаривать отдать ему прииск. Я, конечно, согласия не давала. По началу зимы, на мое счастье, муж уехал по делам в Екатеринбург. Вернулся с хорошими барышами и запил, стал буйствовать и надо мной всяко изгаляться. Редкий день не бил.

Анна Кустова встала с дивана, завернув плечи в шаль, прошлась по горнице.

– Бьет и требует, чтобы отдала приисковые бумаги. Все сносила, но бумаги на его имя переписать отказывалась. Помнила родительский завет: прииска в мужнины руки не отдавать. Однова ночью видела, как муженек в моих сундуках с приданым рылся. Обмерла со страха. Потом холодным облилась, боялась, что найдет бумаги, завернутые в кусок морозовского полотна. Но не нашел, слава богу! И избил меня.

Анна Кустова перестала шагать, остановившись у жарко истопленной печки, прислонилась к ней спиной, слушала гостью, прикрыв глаза.

– Больше месяца от побоев недомогала. Поначалу руками пошевелить не могла. В зеркало на себя взглянуть боялась, глаза совсем заплыли от синяков. На Рождество приехал к нам старший брат мужа Осип. Подслушала разговор братьев. Осип велел позвать в дом доктора, чтобы освидетельствовал меня на предмет моего умственного состояния. Поняла, что и со мной решили сотворить то же, что со своим отцом. Объявили его полоумным и завладели

всем капиталом с лавками. Раздумывать не стала. Под вечер захватила с собой вещички, приисковые бумаги да в Миасс и прикатила к двоюродной сестре.

Анна Кустова, открыв глаза, спросила:

– Побоялась у нее остаться?

– Она велела от нее съехать, потому ожидала, что муж перво-наперво к ней сунется меня искать. Совсем ошалев от горя, кинулась к вам.

– Правильно поступила.

– Потревожила вас, помня приглашение побывать у вас. Вот и явилась со своими горестями. В Шадринске при знакомстве с вами не осмелилась правду о своей семейной жизни рассказать, а сейчас не утерпела. Не гоните меня, Анна Петровна! Мне некуда податься. В мужнин дом дороги нет.

– Зря слова тратишь на такую просьбу. – Анна Кустова, подойдя к окну, поправила занавеску. – Разгулялась погодушка. Ты смелая. В такую непогоду не побоялась ко мне приехать. Конечно, ямщик у тебя дельный мужик. Агапа Нестерова давно знаю. Для него в любой буран дорога скатерть.

Анна молча долго смотрела на гостью. Та стояла высокая, статная. Несмотря на близость сорока лет, лицо сохраняло красоту, только гладко прибранные волосы уже тронуты редкой сединой. Прищурив карие глаза, улыбнулась, подошла к гостье и погладила ее по голове:

– Где место прииска?

– На Осейке.

– Поняла. Кто смотрителем?

– Степан Кривоногов, батюшкин приятель.

– Надежный мужик?

– Человек честный. Только староват. По характеру мягкий да обходительный. Мужа моего как огня боится. Бил он его. Боязливый старик, прямо сказать.

– Это беда не велика. Что боязливый, тоже ничего. Главное, чтобы был надежным да совесть в черепушке носил. Храбрости мы ему прибавим. Пошлем в компанию мужика с крепкими кулаками. Мужа про прииск заставим забыть.

– С ним легко не справишься. Ежели надумает послать на прииск братца Осипа, то у меня на золотые пески только бумаги и останутся.

– Не печалься. Золото в песках и бумаги – все твоим будет.

– Не было бы вам от муженька беспокойства. Характер у него разбойный.

– Не пугай! Освобожу тебя от него. Полюбилась ты мне душевностью. Ни о чем не думай. Сама стану за тебя думать. Но твердо знай, что Анна Кустова возле Тургояк-озера разучилась любых разбойных мужиков бояться. Ложись спать. С этой ночи новую жизнь зачнешь. Лампадку перед образом для покоя души затепли.

Анна вышла в свою горенку. Зажгла на комоде свечу, не торопясь, начала расчесывать волосы.

Простова затеплила лампадку, разделась и погасила свет. Анна, заплетая волосы в косы, спросила:

– Постель не твердая, Луша?

– Спасибо. Лучше чем домашняя…

Когда Анна Кустова беседовала с гостьей в просторной кухне, заставленной ящиками со всякими бакалейными товарами для приисковых лавок, на столе, покрытом холщевой скатеркой, горел ночник.

На печи, похрапывая, спала кухарка. У стола на лавке, возле окна с промерзшими стеклами сидела, накинув на плечи овчинный полушубок, старуха Семеновна и вязала чулок. Ее морщинистое лицо желтое, как воск, глаза скрыты под нависшими седыми бровями.

С полатей свешивалась курчавая голова мальчика Васютки. Он приемыш Анны. Десять лет назад его подкинули к воротам заимки.

– Бабушка, пошто женщина к нам приехала?

– Не знаю, родненький. Прямо сказать, не знаю.

– Знаешь. Сказать не хочешь.

– Может, и впрямь не хочу. Все будешь знать – ране времени состаришься.

– Скажи!

– Отвяжись, худая жизнь. Петлю из-за тебя со спицы спустила. Экий, право, ты прилипчатый. Инда ночью от тебя покою нет.

– Петлю спустила не из-за меня. У тебя зимой куриная слепота. Чего спать не ложишься? Погляди, какую тебе постель изладил. Царская по мягкости.

– Спасибо! Знаю, что заботливый. Видать, забыл, что в непогоду бессонница у меня? Старость, она не в радость. Прикинь, сколь годков прожила. Сразу, милок, не сбившись, и не сочтешь.

– Старым хорошо быть.

– Это как же так?

– Старики все знают. Вот тебя взять. Будь ты молодухой, я бы не услыхал сказов про всякое. Обязательно, как только одолею письменность, все твои сказы запишу.

– У тебя, паренек, для такого пустого занятия времени не найдется.

– Куда денется?

– Работать скоро зачнешь. Приманит золото, так живо про сказы забудешь. Пустое мои сказы. Я ладом и сказывать не умею. Вот тятенька мой – тот на сказы был мастак, потому сам в рудниках возле Азов-горы робил. Начнет про Медной горы хозяйку вязать слова, так у меня мороз по спине гулять зачинает.

– Завидки берут, как подумаю, что ты в старое время со старыми людьми жила.

– Будет, Васютка, про это. Не вспоминай о той поре на ночь глядя. Еще приснится тебе что страшное, и начнешь опять со сна на весь дом орать.

Перестав на минуту вязать старуха, задумавшись, перекрестилась.

– Крестишься? Поди, про страшное вспомнила?

– Вспомнила, Васютка, вспомнила. Не приведи Господь, какое было время. Кулак да плеть людской жизнью правили. Господский приказчик мог любого из нас без отпевания в гроб уложить, без креста на могиле. Минуло то время, не будь добром помянутое.

– Стало быть, теперь людям легче жить без господского кнута?

– Легче. Не так уж шибко, конечно, но все же легче. Господа и теперь есть, только права у них маленько поубавили, лишив крепости над людскими душами. Урядник тепереча не по всякому православному лику может кулаком звякать. Оно, конечно, пословица верно толкует, что до царя далеко, а до Бога высоко. Легче стало жить, на слово мне верь. Хотя жители в государстве все одно не довольны. Подрасти маненько, книжки про мое время почитай, тогда и поймешь, что права старуха, сказывая, что нонешнее время лучше старого.

– Тебя господские приказчики били?

– Нету! Мужицкая рука до меня не касалась. Зато от бабьей руки не одну оплеуху съела, не подавившись. Била меня моя барыня. В горничных при ней состояла. Волосы ей на сон грядущий расчесывала. И какие же у нее, паренек, волосы были! Длинные, волнистые, а мягкие, как лебяжий пух.

– За что била-то?

– Да за всякую малость. То не ладно гребешком выберу спутанные волосики, то не с того боку возле нее встану. Не со злобой била. От горячности характера хлестала. Крутая была барыня. Жизнь ее господская тоже была по-бабьему не конфетка. Потому мужнин отец, отставной генерал ее хлыстом похлестывал.

– Пошто никто за тебя не заступался?

– Некому было, родимый. С царем незнакома, а у угодников своих дел многонько, им недосуг за моей шеей глядеть.

– А муж?

– Он, милок, на прииске золото мыл. Редко мы с ним свидывались. А уж ежели свидимся, так про барские побои не беседовали.

– Чудная ты, бабушка.

– Это пошто же?

– Да как же. Барыня тебя дубасила, а ты ее добром вспоминаешь.

– Потому простила ее. В тот день простила, как поп на паперти зачел царский манифест освобождения от крепости. Тот день я за счастливый почитаю… Будет, однако, про все такое. Ночь на дворе. Тревожишь меня всякими расспросами. Реветь зачну. Глаза мои ноне на болоте, мокрота от них бежит, как водица из выжатой тряпицы. Спи. Слышь, как воет?

– Да завсегда так воет, ежели буран. Хорошая ты, бабушка.

– Спасибо. Еще давай как поласковей похвали.

– Зря тебя «хмурой» прозвали.

– Правильно прозвали. Аль не хмурая на лик? Не глянется людям, что на них исподлобья зырю.

– Неправильное тебе прозвище дали.

– Тебе, конечно, видней. Жаль, что запоздал на свет уродиться, не удосужились люди тебя спросить, какое мне прозвище привесить.

– Ты людей любишь?

– Не всех.

– Опять врешь. Всякой бабе в беде помогаешь.

– Это, милок, сказ вовсе про другое. Живу по пословице: ворон ворону глаз не выклюет. Хмуро на людей гляжу по причине, чтобы побаивались меня. Потому, когда человек боится, – он врет меньше.

– Неправильно! Я тебя не боюсь. Ну вот нисколечко не боюсь, а врать тебе не смею.

– Ты себя со всеми в ряд не ставь. Ты для меня лучше всех на свете, потому сама тебя вынянчила, сама в тебе искру в душе в огонь жизни раздула. Кабы была помоложе да побогаче, то вместо Аннушки тебя в сыночки взяла. Из-за старости только нянькой для тебя стала.

Тихо скрипнула дверь, когда в кухню вошла Анна Кустова.

– Полуночничаете? Про что толкуете?

– Обо всем помаленьку, Аннушка.

– Дня вам не хватает для мудрой беседы?

– И то не хватает. Днем Васютке недосуг. Грамоту постигает. Сама чего не спишь?

– Лягу скоро. За делом пришла. Вася, оболокись[8] скоренько. Сбегай в «девкин барак». Вели Клаве-Туфельке ко мне завтра в шестом поутру зайти. Пусть не проспит.

– Сейчас, маменька.

Мальчик спрыгнул с полатей, начал одеваться.

– Куда валенки, бабушка, сунула?

– На печи. Сушатся. Только там легонько шарь. Степаниду не испугай, а то всю ночь икотой спать не даст.

– А с чего ты их на печь сунула?

– Мокрехоньки были. Снег в них нагреб.

Мальчик полез на печь за валенками.

– Куда поутру собралась, Аннушка?

[8] Оболокись – оденься.

– На Осейку.

– По делу заезжей гостьи?

– Догадливая.

– Скоро вовсе провидицей стану. Раз за Клавой посылаешь, значит, сурьезное в мыслях держишь. Туфельку зря не тревожишь.

– Муженек гостью зело обидел. К унаследованному от отца прииску лапу тянет.

– Надумала на нее наступить?

– Опять угадала.

– Тогда слушай меня. Пимену вели на купецкую лапу наступить. Из-под его ступни не скоро выдернет.

– Так и решила. Пимена назначу смотрителем на прииск. Вася, нашел валенки?

– Один нашел, маменька. Другой шарю.

– Ты у трубы его пошукай, – посоветовала старуха.

– Вот он! Нашел! – Мальчик слез с печи и надел валенки. – Пошел я.

– Беги по тропке возле бань. Напрямик не смей! Там сугробы страсть какие глубоченные.

– Ладно, бабушка.

Впустив в тепло кухни клубы холодного пара, мальчик ушел.

– Ложись, Семеновна.

– Это недолго. Только сна мне не будет. Непогода на воле. Неугомонная ты, Аннушка, опять чужую заботу на себя приняла.

– Душа у Луши хорошая. Теплая, как огонь свечи. Видела, какая из себя аккуратненькая?

– Видала.

– Избивает ее купеческий гаденыш.

– Завсегда так. Потому и бьет, что она сдачи дать не может.

– Спасибо, что про Пимена намекнула.

– Лучше Пимена никто на купца узду не наденет. Ступай, Аннушка.

– Обещай, что ляжешь, как уйду.

– Васютка воротится, разом лягу…

Выйдя из кухни, Анна Кустова зашла в горницу и подошла к постели:

– Спишь, Луша?

– Нет.

– Спросить тебя решила.

– Спрашивайте, Анна Петровна.

– Всем разумом мне веришь?

– Верю.

– Завтра поедем на прииск. Поставим на него еще одного смотрителя. Бумагу на прииск на меня перепишешь. Только смотри, тревоги в разуме от этого не заводи. Обману с моей стороны не будет. Только для закону откуплен мной у тебя прииск. Поняла?

– Как велите, так и поступлю.

– Хорошо. Теперь ложись на любимый бок и спи. Потому рано подыму…

Вернувшись в горенку, прикрыв дверь, Анна Кустова стала раздеваться, отражаясь в большом зеркале на комоде. Провела рукой по обнаженным плечам, вздрогнула до мурашек от прикосновения собственной руки. Давно скучала по мужской ласке. Подумала, что на обратном пути с Осейки навестит в Миассе Михаила Павловича. Думая о нем, подошла к кровати. Поставила на тумбочку возле изголовья свечу. В соседней горнице часы пробили одиннадцатый час. Поперек постели на одеяле лежала серая кошка. Увидев ее, Анна улыбнулась:

– Неплохо устроилась, красота! Всю постель заняла.

Сев на край кровати, погладила кошку, а та замурлыкала.

– Ну-кась, подвинься маленько!

Но кошка, только слегка приоткрыв глаза, не шевельнулась.

– До чего разленилась. С боку на бок лень перевернуться!

Анна легла на кровать, отчего та скрипнула. Кошка нехотя встала на ноги, выгнула дугой спину, побродив по кровати, легла в ногах у хозяйки.

Закинув руки за голову, Анна Петровна, невольно слушала завывания ветра в трубе и ритмичное постукивание плохо закрытой вьюшки. Она знала, что не заснет. Еще слушая рассказ Простовой, вспомнила о своей давней семейной жизни. Давно не ворошила об этом память. Жила настоящим с радостями и заботами без особых тревог. Тревоги за собственное существование исчезли, когда возле озера нашла фарт на золото. Но былое не было забыто, и вспомнить сегодня о нем заставил рассказ гостьи.

Восемнадцать лет назад она была крестьянской девушкой из деревни Рязанской губернии.

Выросла впроголодь, но была красива. Заметил ее проезжий купец. Высватал. По воле родителей вышла замуж за Петра Терентьевича Кустова. Не видав ни разу будущего мужа, шла под венец, купив замужеством родной семье отдушину в беспросветной нужде.

Муж оказался тихим, ласковым, но покорным рабом воли и желаний вдового деспотичного отца. Уже на первом месяце замужества Анна заметила похотливые взгляды старика. Нагоняли они на нее страх. Недоброе предчувствие скоро сбылось. Однажды мылась с мужем в бане. Пришел старик, велел сыну наскоро ополоснуться и идти домой, а ей приказал остаться и попарить его. Заливаясь слезами, вернулась Анна из бани и рассказала мужу страшную правду, но он, пожав плечами, ответил, что перечить воле родителя не станет, и ей придется терпеть, пока старик не угомонится. Пораженная ответом мужа, Анна затаила на него обиду и ненависть к снохачу. В тот же год родилась дочь, крещенная Марией, и Анна не сомневалась, что отцом ее был ненавистный снохач.

Однажды муж уехал по торговым делам. Старик, заперев ее в опочивальне, возобновил похотливые притязания. Кусая его руки, царапаясь, Анна смело защищалась, и когда старик, озверев, ударил ее кулаком по лицу, она схватила попавшиеся под руки ножницы и воткнула их в его грудь. Снохач от раны не умер, но проклял ее. Она отбыла церковное покаяние, отстояв последнюю наложенную на нее епитимью-молитву, прошла мимо мужниного дома, оставив в нем дочь, ушла в неведомую жизнь.

Еще в родной деревне слышала она от бывалых людей про Уральский край, где любой может вымыть из песков золотое счастье. И вот, круто свернув с тропы матери и жены, закусив губы от обиды, подалась она в тот край. Ходила по нему с прииска на прииск, пока не добрела до миасских песков. Немного понадобилось времени, чтобы Анна поняла, что рязанская пригожесть на работе возле золотоносных песков приведет ее на тропу легкой жизни переходящей из рук в руки мужицкой полюбовницы. Два года лопатила и перемывала пески. Отгрызалась от приставаний ухажеров. Озлобилась от постоянного прикосновения к себе мужских рук. Узнала горькую истину женщины в приисковом быту, ушла от людей в одиночное лесное старательство. Год хищничала Анна и нашла гнездо самородного золота. Крадучись, добыла его. Крадучись, подала скупщику, обзаведясь большими деньгами, срубила на берегу Тургояк-озера дом заимки, занялась торговлей.

Зная вкусы рабочего люда на товары, через год утвердила торговлю. Помня нужды и горести женщин, случайной помощью приучила их вводить неписаные бабьи законы на промыслах против всякого притеснения и обиды. Выстроила бараки, в которых зимами жили приисковые работницы, у коих не было своего теплого угла. И через пять лет пошла о ней молва по Южному Уралу, заставляла злобно сжимать кулаки всех, кто хотя бы раз поговорил с ней с глазу на глаз, отвечая за обиду женской доли.

Часто после разговоров с Анной Кустовой из мужских ртов струилась кровь. Наставляла она на путь истинный мужей, парней-зубоскалов, любовников, приказчиков и даже самих

хозяев, защищая поруганную женскую душу, гордость и честь. Мужики, обученные ею уму-разуму, дали ей прозвище Волчица; и с ним жила она у озера, наживая смелость и опыт жизни.

Замкнуто жила Анна в своей заимке. Однажды поехав в Миасс по делам, встретилась у знакомых с молодым студентом-учителем. Домой вернулась с отуманенной головой. Михаил Болотин привлек ее словами о женской душе, удивил ласковостью обращения, и скоро, став ему близкой, Анна дала волю проснувшейся страсти. Прошло два года, она до сих пор не знала, почему же именно от слов Болотина замерло ее сердце, но знала, что в Болотине была для нее цель настоящего существования. Она никогда не спрашивала себя, любит ли он ее, но сознавала, что нужна ему, что нет и у него силы жить без ее ласки. Два года сжигала чувственность в ласках любимого, не решаясь сказать ему о своем чувстве. Помнила все сказанные им слова о людской вольности в жизни и чувствах. Помнила, что Болотин в первую встречу сказал, что не отдаст женщине власть над своим разумом. Помнила об этом, молчала о своем чувстве. С прошлого лета постоянный страх потерять любимого исчез, когда осознала, что сумела приручить его к своим заботам, а он, став покорным, все реже и реже говорил о вольности.

Шла жизнь Анны возле Тургояк-озера, среди радости и горя женских душ, а тепло собственного чувства давало ей силы для борьбы за право всякой женщины на тепло возле костра личного счастья.

Во мраке приискового быта крепла женская воля, была в их воле искра воли Анны Кустовой, учившей всеми силами душить звериное превосходство в мужском сознании в тех или иных обличиях, пересекавших их бабьи жизненные тропы.

Мужчины хорошо знали нрав Волчицы. Знали, что ни одна слеза обманутой девушки не пройдет парню даром, если о ней узнает Анна. Знали и мужья, что не все пятаки можно сносить в кабак, оставляя семью с голодом. Помнили о Волчице и владельцы приисков. По горькому опыту знали, как уходили с их промыслов, бросая работу, женщины по приказу Анны Кустовой. Знали, что иной раз от неизвестной причины сгорали приисковые хозяйства, затоплялись забои, и редко кто помнил, как иной раз находили ретивых смотрителей – охотников за женской лаской – всплывшими утопленниками в горных речках, и никто никогда не смог доказать закону, как они утонули.

Царский закон не давал женщине на промыслах права на защиту ее труда и жизни, и по закону, придуманному Волчицей, всякая промысловая труженица находила себе защиту и расправу с обидчиком. Не гладил Аннин закон по голове и женщин, нарушавших ложью верность бабьего слова, данного мужу, жениху, полюбовнику.

После встречи с Болотиным, пробудив в себе женщину, Анна часто думала о покинутой дочери, но холодела, вспоминая, что она родилась от снохача. Несла теперь ожившее в ней чувство матери к мальчику Васе. Отдавала материнскую ласку детской жизни, начавшейся в неведомую ей минуту глухой ночи на каком-то уральском прииске. Уйдя от прошлого, только через десять лет Анна наконец успокоилась. Хорошо спрятала от былого свою жизнь возле озера. Больше всего боялась она, чтобы прошлое какой-либо реальностью вновь не вошло в ее жизнь женщины, первый раз чувствующей любовь. Анна не забывала, что каждый год приближал старость. Не думала о ней, была уверена, что тепло дома согреет ее, если останется одинокой, какой была до встречи с Болотиным.

Не шел сон к Анне. Лежала с закрытыми глазами. Давно догорела и погасла свеча. Выла в трубе вьюга. Часы в соседней горнице пробили четвертый час после полуночи. Встала Анна с кровати, накинула на плечи шаль и босая пошла в кухню. В ней по-прежнему у стола возле ночника сидела бабушка Семеновна и вязала чулок. Анна подошла к старухе, провела рукой по ее плечу:

– Так и не легла, Семеновна?

– Не легла. Васютка на моем месте спит. Засопел под мой сказ про Пугача. О тебе за вязаньем думала. Видать, и ты седни глаз не сомкнула? Поди, про что рязанское вспомнила?

Анна села на лежанку, поправив одеяло на спящем мальчике.

– Волчицей тебя со злобы мужики окрестили, не подумали, что душа в тебе не волчихина. Разум ты в меру назлила, а душу озлобить позабыла. Не подумала ее щитом злобы прикрыть. Ласку в душе сохранила, а она плохая защита, ежели душу страдание опалит.

– Что с душой станет?

– Смерть ее ждет. Потому тебе со своим ликом нельзя ласковую душу в теле ютить. Ее обидеть легко, а обиды она не снесет.

– Что ты, Семеновна! Да кто меня обидит? Волчицу даже не всякий охотник бьет.

– Ах, Аннушка, Аннушка, зачем только в ваших рязанских деревнях барские девки родятся? Сколь рязанских баб не видала – все были пригожими, и всегда мужикам от них было одно беспокойство.

– Не пойму, зачем начала речь про такое?

– Да так. Просто брякаю языком от бессонницы. Стану, пожалуй, самовар ставить. Тебе ехать скоро.

– Сиди. Степанида поставит. Пойду собираться.

– На обратном пути в Миассе, поди, гостить останешься?

– Останусь.

– Дельно. Домой воротясь, не станешь ночи без сна коротать.

Анна, поднявшись с лежанки, потянулась, пошла из кухни, но у двери остановилась, покачав головой, засмеялась.

– Ну и бедовая старуха ты, Семеновна.

– Плохая на твой погляд?

– Каждым словечком думать заставляешь.

– Какая есть. Лет много, а умишка в обрез. Глаза полуслепые, а все одно видят, на что им глядеть совсем не надо. Ступай. Собирайся ладом, да и оболокайся потеплее, на воле светопреставление. Ажно Васютка, воротясь из барака, поверил, что черти в буране хороводы водят. Ступай…

Глава V

1

Князь Мещерский, побывав на Северном и Среднем, появился на Южном Урале. В уездном городе Златоусте он задержался дольше обычного.

Поводом послужило желание побывать у дальнего родственника, Вадима Николаевича Новосильцева, владельца золотых промыслов и обширных лесных угодий в отрогах Таганая.

В недавнем прошлом Новосильцев – офицер гвардейской артиллерии. В отставку вышел после окончания русско-японской войны. Поселился на Урале, вступив в управление промыслами, унаследованными матерью, родственницей Мосоловых, основавших Златоустовский завод в 1754 году. От былой славы рода матери Новосильцева достались крохи, но все же заманчивые по доходности, отданные ею в руки сына.

Новосильцев принял князя-родственника в доме на живописном берегу речки Ай в пяти верстах от Златоуста. Барский дом выстроен Мосоловым, когда тот был еще тульским купцом, получившим дворянство по милости Екатерины Второй за благие дела на пользу Отечеству. В обширном доме Новосильцев зимами занимал комнаты первого этажа, а большую часть времени проводил в синей гостиной.

Обставлена гостиная громоздкой старомодной мебелью павловских времен. И среди нее таким чужим казался черный рояль. Появился он вместе с новым хозяином, как бы утверждая, что в старинный дом пришла жизнь нового века.

Новосильцев принял князя не по-родственному, прохладно, сильно озадачив его. Но обед, которым Новосильцев угостил князя, скрасил прохладность приема, ибо был изысканным по блюдам и по букету отечественных и французских напитков. Обед окончился, когда начали густеть февральские сумерки. Хозяин пригласил князя перейти в синюю гостиную, и уже при них миловидная служанка, плавно скользя мелкими шажками по навощенному паркету, торопливо зажгла свечи в торшерах и, уходя, у двери отвесила церемонный поклон.

Новосильцев в полковничьем мундире с приколотым на груди офицерским Георгиевским крестом, сильно хромая, шагал по покою. Его левый глаз под черной повязкой. Характерное лицо в шрамах, особенно заметны они на левой щеке и подбородке.

В гостиной за диваном на стене персидский ковер, увешанный огнестрельным и холодным оружием.

Мещерский сел в кресло, прикрыв ноги пледом. Около ниши с мраморной Дианой столик с бокалами, фруктами и бутылками.

Если за обедом разговор был о незначительных пустяках, то в гостиной Новосильцев заговорил о вещах, заставивших князя насторожиться. Говорил хозяин глухим хрипловатым голосом, часто откашливаясь:

– И все-таки, князь Василий, не могу понять, какой черт загнал вас зимой на Урал? Время здесь заполошное.

– Меня, Вадим, никакая заполошность не пугает и не волнует. У меня давняя привычка ничего подобного не замечать. Загнал меня сюда не черт, – князь перекрестил себя мелким крестом и, зевнув, закончил мысль: – Пребываю здесь по желанию видных особ империи.

– По желанию или по приказанию?

– Это не суть важно. Я сказал, видных особ, а посему ничего обидного нет в том, что выполняю их поручение.

– Среди видных особ в Петербурге и вы числитесь. Насколько мне известно, любите выполнять поручения, приносящие солидные дивиденды. Неужели решили на Урале половить рыбку в мутной воде, используя странное время?

Князь, стараясь не выдать раздражения, прищурившись, раздельно произнес:

– Прелестно! Какое тактичное начало родственного диалога. Вадим, ты совсем прежний. Неисправимый и задиристый, а ведь уже не раз испытывал неприятности.

– Намекаете, что могу их испытать и от вас?

– Перестань, Вадим!

– Уральский чиновный мир вы здорово переполошили своим помпезным вояжем по краю, а ведь Уфимская и Пермская губернии без этого еще не пришли в себя от различных революционных пертурбаций. Ваш приезд снова событие. Манера вашего вояжа, если сказать вежливо, удивляет. У меня лично это удивление граничит с раздражением. Как вашему родственнику, мне оскорбительно, что позволили себя поставить на место не то ревизора, не то коммивояжера.

– Не моя вина, что власти на Урале чрезмерно ретиво оберегают меня от могущих быть неприятностей.

– Каких неприятностей? Покушения на вас не будет. Подпольные марксисты теперь против террора. Полиция и жандармерия мерами вашей охраны порой ставят вас в смешное положение. Хотя их можно оправдать. Перепуганы вашим появлением. Вдруг вы, как у Гоголя, тот самый ревизор. Прибыли довольно таинственно. Вдруг приехали следить за их преданностью престолу. О вас уже ходят небылицы.

– Прелестно! Это неплохо! Я доволен! Пусть думают, что я меч карающего правосудия!

Новосильцев, остановившись около князя, улыбнувшись, спросил:

– В зеркало часто смотритесь, князь Василий?

– Естественно, смотрюсь.

– В своем облике находите черты человека, способного быть карающим мечом?

– Не забывайся, Вадим! – вспылил князь, закурил папиросу. – Казарменный налет на твоем воспитании мне известен. Всему бывают границы. Могу обидеться.

– Напрасно. Мне хочется говорить вам правду.

– Какую правду?

– Вас считают шпиком, даже те, кто охраняет.

Князь от удивления подался вперед, выронив из рук папиросу, и переспросил:

– Кем?

– Шпиком! Но только титулованным. Уверяют даже, что присланы разведать уральские настроения. Что по вашему впечатлению об уральцах в крае вновь может появиться очередной каратель с казаками и ингушами. Пищу для подобных небылиц даете сами своим сановным поведением. Особенно всех насторожило ваше посещение Кыштыма.

– Что особенного в этом посещении?

– А то, что среди нынешних владельцев этого горнозаводского округа находятся наследники Клавдии Александровны Меллер-Закомельской. Надеюсь, о карательной деснице этого барона вы все же наслышаны?

– Чепуха! Я выполняю здесь миссию государственного значения.

– Но при этом отвратительную. Князь Мещерский уподобляет себя роли барского приказчика. По приказу отечественных покровителей иностранцев старается осуществить бесплодную идею доминирования иноземцев над уральским золотом.

– Вадим! Будь осторожен, не забывая самого существенного! Я – доверенное лицо людей, облеченных властью распоряжаться судьбой Урала. Они могут…

– Знаю! Бываю даже свидетелем их возможностей. Не сомневаюсь, что среди пославших вас даже Столыпин. Наслышан о сей модной в империи особе, – замолчав, откашливая от вол-

нения, Новосильцев, походив, заговорил снова: – Зачем встречаетесь с золотопромышленниками, не способными помочь вам решить вопроса об уральском золоте?

– Имею указание посетить тех, кто в списке, данном мне в Петербурге. В нем значится на первом месте Воронов, а так же твоя матушка.

– Мамины права на промыслы в моих руках.

– Все, кого я осчастливил посещением, охотно признали важность моей миссии.

– Не будьте наивным! Не старайтесь обманывать себя успехами свиданий с хозяевами уральского золота. Вы же натолкнулись на их спайку в защите своих прав? Вы обескуражены нахальством уральских мужичков-богатеев? Вы надеялись перечислением знатных фамилий перепугать их насмерть? Но не испугали. Заставили сплотиться и ухмыляться над вами в бороды. Только Воронов, щадя вас, не высмеивает вашей миссии. Он на вопросы любознательных говорит, что князь Мещерский посетил его, интересуясь живописью художника Денисова-Уральского.

– Неужели так говорит? Прелестно! Какое достоинство у мужика! Мне трудно поверить. При встрече наговорил массу опасных умозаключений. О великих князьях неодобрительно отзывался. Но представь, неожиданно пригласил к ужину и такими рябчиками угостил, просто оближешь пальцы.

– Вот и плюньте на вашу миссию, а катайтесь по Уралу и ешьте рябчиков у мужиков с удивительным достоинством.

– Однако, Владимир, сын Воронова от встречи со мной уклонился.

– Он человек с независимым характером. Патриот Урала. Наслушался небылиц о вас и решил, что свидание с вами бесполезно.

– Ты его знаешь?

– Дружим. Авторитет в золотопромышленности. Будучи в ней почти профаном, пользуюсь его советами.

– Убеди его встретиться со мной.

– Повторяю, что Владимир Власович слишком самостоятелен.

– Но ты лично, Вадим, понимаешь серьезность моей миссии?

– Она меня не интересует.

– Прелестно! Может быть, скажешь, что и моим заездом недоволен?

– Если быть до конца откровенным, то ваш визит не привел меня в восторг. И все только потому, что появились у меня в окружении жандармской помпезности. Пробыв на Урале больше месяца, вы все же не удосужились уяснить истинное положение в золотопромышленности хозяев немужицкого происхождения. Не уяснили, что пятый год внес коррективы в быт нашего пребывания в крае на положении привилегированных хозяев. Дворян здесь никогда не жаловали, а теперь тем паче. После вашего визита меня обязательно причислят к черной сотне. Около моего существования и без этого масса сплетен.

– Кстати, Вадим, в Екатеринбурге мне говорили, что ты собирался уйти в монастырь. Если бы это произошло, то в петербургских салонах люди бы задыхались от пересудов. В них ты до сих пор пребываешь в ореоле маньчжурского героя-мученика, покинувшего свет и карьеру.

– Монах, князь Василий, из меня не получится. Кривой и хромоногий, продолжаю любить жизнь. Моя жизнь среди девственной природы таганайских лесов прекрасна. Здесь я, наконец, убедился, что каждому человеку следует трудиться. Не шататься без дела, занимаясь только сменой мундиров и фраков ради парадов и раутов, изображая из себя особу особого назначения, исходя из ранга дворянской родовитости.

– Какие вы здесь озлобленные!

– О ком говорите?

– Конечно, о дворянах!

– Нас здесь мало. Мы здесь элита. Ибо не на верхней степени богатства.

– Но по вам мне приходится судить о ваших настроениях. Разве они патриотичны? Напрашивается естественный вывод, что дворяне, угодничая перед мужицкими богатеями, пляшут под их дудки. Настроение дворян на Урале граничит с упадочным. Даже губернатор в Перми предчувствует ожидающие империю в будущем мифические потрясения. Видимо, вам не ясно, что утвердил в империи пятый год?

Мещерский встал на ноги и, подойдя к роялю, прислонившись к нему, пристально смотрел на Новосильцева.

– Что же утвердил в империи пятый год, князь? – спросил Новосильцев.

– Незыблемость империи. Незыблемость монархии, ибо такова воля дворянства. Государь снова опирается на плечи дворянства. Теперь, надеюсь, тебе ясно, Вадим?

– Мне ясно, князь Василий, многое другое.

– Поделись, что тебе ясно.

– Прежде всего, что дворянство не думает о судьбе России. Оно самовлюбленно убаюкивает себя восторгами перед выдуманными фаворитами. Слишком мало думает, чем живет страна после репетиции русской революции.

– О чем говоришь? – выкрикнул князь, взмахнув руками. – О какой революции посмел сказать? Не было в России революции! Был смехотворный бунт, слава богу, усмиренный силой оружия!

– Блажен, кто верует.

– Верую. В незыблемость династии Романовых верую.

Наступило тревожное молчание. Новосильцев подошел к окну и смотрел на заснеженный парк. Князь рассматривал развешанное на ковре оружие.

– Князь Василий, вам понятно, почему, вернувшись с войны, я покинул гвардию и столицу? – Не услышав от князя ответа, Новосильцев продолжал: – Из-за злости. Ее поселила в моем разуме вся тупость титулованных мерзавцев, сделавших на несчастной войне карьеры и капиталы. С их легкой руки мы, маньчжурцы, за свое участие в войне, за наш патриотизм, за поражение награждены ненавистью русского народа. Нас ненавидят за то, что, по воле Петербурга, носим звание горе-вояк, не сумевших японцев закидать шапками. Я пошел на войну добровольцем из самых честных побуждений защитить русскую землю от обнаглевших самураев. И пережил весь ужас отвратительного предательского поражения. Теперь я озлоблен, что был свидетелем непостижимого горя от бесславия русского оружия. И допустили это бесславие все те, кто поставлен государем сохранять величие и честь империи.

Закашлявшись, Новосильцев налил в бокал вина и залпом выпил, смотря на князя, спросил:

– А разве у вас, князь, ангельский характер?

– О чем ты?

– Вы не озлоблены?

– Бог с тобой, Вадим!

– Постойте! Разве не озлобленность вынудила вас стать посредником русских и иноземных хапуг? Разве не озлобленность на старость, на неудачи в карьере, неблагополучие в финансах обрядила вас в пособника по обкрадыванию иноземцами своего государства, в коем вы рождены носить в разуме и сердце рыцарские заветы по защите Российской империи?

– Вадим, ты не сознаешь, что сейчас говоришь! Слушая тебя, склонен согласиться с петербургскими слухами о твоем душевном и умственном состоянии. Все, о чем говоришь сейчас, позволяет думать…

Новосильцев резким криком прервал Мещерского:

– Что я сумасшедший!

– Я хотел употребить другое слово.

– Но его смысл одинаков с моим? Вы считаете меня сумасшедшим? Ибо я не склонен, развесив уши, слушать ваши побасенки. Конечно, для вас я сумасшедший. Гвардеец, кинувший армию от обиды за поражение империи в войне. Недовольный, что на войне стал полковником в тридцать пять лет. Кавалер святого Георгия. По вашим понятиям, я мог бы стать новым Печориным. На кривоглазости, хромоногости маньчжурского героя мог бы спекулировать, и не без выгоды для себя, в петербургском свете. На мой взгляд, князь Василий, вы тоже являетесь человеком, у которого не все дома. Понятнее: для меня вы человек оттуда. Ваша жизнь для меня спектакль, с которого я ушел после второго акта, когда меня начало тошнить от бездарных актеров.

– Вадим!

– Дослушайте до конца. В Петербурге вы не хотите осознать, что поняли низшие сословия русского народа, именуемые чернью.

– Прелестно! Растолкуй скорей, что же поняла чернь и чего мы в столице понять не можем.

– Она не простит дворянам пролитой крови ради позорного поражения в войне. Кроме того, она поняла главное, что после пятого года стало две России. Одна – тысячи дворян, купечества и духовенства, а вторая – она, эта самая чернь. А теперь скажите, князь, за что вы не любите Россию, если помогаете иноземцам ее обкрадывать? Неужели действительно допускаете возможность, что уральские промышленники всех сословий позволят отнять у них право владеть богатствами Урала, чтобы отдать его иностранцам? Нет, князь, мы этого права не уступим. Вы это уже поняли, но упорно стараетесь подружить нас с иноземными хапугами.

– Но ведь ты тоже хапуга?

– Конечно. Ибо продолжаю дело, начатое моими предками, только уже без шпицрутенов и плетей. Буду делать это, пока меня не лишат этой возможности, а что в конце концов лишат, в этом не сомневаюсь.

– Прелестно! Кто же лишит тебя права быть владельцем родовой собственности?

– Все те, кто поверил после пятого года, что кровь всех русских одинаково красного цвета и на солнце, умирая, пахнет щавелем. А может быть, еще раньше, по вашему совету, это право отнимут у лишенного ума георгиевского кавалера высокие особы, приславшие вас на Урал.

– Не беспокойся, Вадим! Тебя никто не тронет. Снова заверяю: империя уже отбила лапы всем, кто мечтал о бунтарстве, хотя среди них были и дворяне.

– Но на этот раз в революционной репетиции были дворяне способные каяться в своих намерениях покуситься на власть Его Величества. Дворяне, которые не будут плакать наподобие декабриста Каховского и вытирать слезы платком, подаренным императором. Да и император Николай Александрович по складу характера не похож на своего тезку Николая Павловича.

– Прелестно! Поговорим о другом. Я навестил тебя не осуждать прошедшие и будущие политические проблемы империи. И, откровенно, мне надоело слушать твой озлобленный бред. Меня просила навестить тебя Мария Владиславовна.

– В чем мама недовольна сыном?

– Привез ее благословение и убедительную просьбу быть благоразумным. Кроме того, просила рассказать тебе, как перед Рождеством императрица Александра Федоровна приглашала к себе матерей гвардейских офицеров – участников войны.

– И одарила счастливых мамаш иконками Серафима Саровского?

– Напрасно иронизируешь. Императрица долго расспрашивала о тебе, была взволнована, что ты лишился глаза.

– Надеюсь, мама не скрыла от нее, что я вдобавок еще и хромой и не могу по-прежнему танцевать. Передай маме, что она напрасно ходила во дворец. Впрочем, сам напишу ей. Мама не нуждается, чтобы обивать дворцовые пороги. Я еще жив и забочусь о ней, хотя и живу от нее в двух тысячах трехстах семидесяти верстах.

– Мама гордится тобой.

– Также я горжусь матерью, родившей меня с честью и смелостью. Горжусь и Георгием. Не потому что мне приколол его на грудь Куропаткин. Горжусь тем, что под Ляоляном полил землю кровью, землю, которой японцы завладели не по нашей вине.

– Ты не понимаешь жизни в Петербурге, обвиняя мать в том, что она была на свидании с царицей.

– Не понимаю. И вы напрасно мне рассказываете об этом.

– Мария Владиславовна тяжело переживает разлуку с тобой. Не пора ли тебе вернуться к ее старости?

– В Петербург не вернусь. Она знает об этом. Если ей грустно, пусть едет сюда. В доме места хватит.

– Какой жестокий!

– Зато вы добренький. Спасибо за рассказ. В умиление он меня не привел. Маме, конечно, об этом не говорите.

– Прелестно! Поручение Марии Владиславовны выполнил. Но есть еще одно поручение, довольно деликатное. Оно от Марины.

– Я не ослышался?

– Нет, Вадим. Марина Павловна просила передать тебе письмо.

– Какая Марина Павловна?

– Вадим!

– Прошу, князь Василий, голос не повышать! Я не помню о существовании никакой Марины Павловны. Письма мне ее не надо. Считайте, что и это поручение выполнили.

Закашлявшись, Новосильцев подошел к роялю. Кашляя, взял несколько мажорных аккордов. Осилив кашель, сел к роялю и заиграл шопеновский вальс. Играл хорошо.

Князь встал на ноги. Пройдясь по комнате, остановился у столика около богини Дианы и налил бокал вина. Слушал музыку, пил вино редкими глотками.

В гостиную вошел слуга. Новосильцев, увидев его, не прерывая игры, спросил:

– Что случилось, Закир?

– Дозволь говорить, барин.

– Слушаю.

– Ротмистр приходил.

– Тиунов?

– Так точно.

– Зови.

Закир ушел, не прикрыв за собой дверь. Звеня шпорами, вошел жандармский ротмистр.

– Здравствуйте, уважаемый Тиунов, – приветствовал пришедшего Мещерский. – Вы за мной?

– Так точно, ваше сиятельство! Но у меня убедительная просьба, чтобы остались ночевать у господина Новосильцева.

– Почему?

– Считаю долгом поставить вас в известность, что два часа назад в депо станции Златоуст была разогнана сходка мастеровых. Предполагаю, что вам лучше остаться у господина Новосильцева.

Новосильцев, перестав играть, вмешался в разговор:

– Ерунда, князь Василий. Я сам отвезу князя в Златоуст, ротмистр.

– Прошу извинить, но допустить этого не могу. За безопасность князя несу ответственность.

– В таком случае возьму эту ответственность на себя.

– Полагаю, что для этого нужно…

– Что именно? Повторяю, беру ответственность на себя. Князь – мой гость. Вы можете со своим конвоем вернуться в Златоуст. Князь у меня долго не задержится.

– Буду настойчиво протестовать.

– Похвально! Уверен, что князь оценит ваше упорство. Мне тоже нравится ваша бдительность. Князю приятно убедиться, как в Златоусте четко работает жандармское управление по охране законопорядка.

– Действительно, ротмистр, Вадим Николаевич прав. Он благополучно доставит меня в Златоуст. Вы же сами восторгались его лошадьми. Ответственность с вас снимаю, – сказал Мещерский.

– А чтобы убедиться, что князь приедет в дом управителя в сохранности, вы можете подежурить возле него.

Ротмистр, недовольно посмотрев на Новосильцева, звякнув шпорами, поклонившись, вышел из гостиной.

– Этого Тиунов мне не простит, – улыбнувшись, Новосильцев заиграл прерванную мелодию шопеновского вальса. – Летом на промыслах будет донимать старателей обысками.

– Зачем?

– Искать крамольную литературу. Владелец промыслов своим неуважительным отношением к его высокой особе кажется ему подозрительным.

– А ты своим предложением подежурить у дома управителя действительно мог его обидеть?

– Переживет! У меня гвардейская традиция не питать к жандармам уважения.

– У твоего Закира злой взгляд. Он татарин?

– Да. Закиру обязан жизнью. Он на руках вынес меня с поля боя. Несколько верст тащил на себе. Преданный мне человек. Здесь преданность приходится особенно ценить.

2

Окрест Златоуста в извечном карауле величественное горное царство трех Таганаев. Горы Уренга, Косотур, Татарка и Липовая ближе всех подступили к его населению.

Древний горный завод с титулом города с 1865 года расположился по увалам на берегах огромного пруда, образовавшегося в долине реки Ай от ее запруды.

В слободке за станцией Самаро-Златоустовской железной дороги на горном склоне с хвойным лесом, ухоженным, как парк, раскиданы казенные домики железнодорожников, а также жилища частных владельцев.

В пятистенной избе с тремя окнами по фасаду, с наличниками, украшенными кружевной резьбой, живет семья Архипа Рыбакова – гравера Князе-Михайловской оружейной фабрики.

В закатный час в ее горенке у окна с видом на Ветлужную улицу стоял Макарий Бородкин, любуясь отсветами закатного солнца на сугробных снегах.

В Златоусте Бородкин доживал вторую неделю. Приехал в него после встречи со Степаном Лыковым на шахте Косогорского рудника. По словам Лыкова, у него было предположение, что именно в Златоусте могли находиться их товарищи по Верх-Исетскому заводу, перебравшиеся туда на жительство после подавления забастовки. У Лыкова были также сведения, что в заводах возле Златоуста вновь сколачиваются очаги партийного подполья, и, будучи в этом уверен, он дал Бородкину пароль для контакта с Архипом Рыбаковым.

После встречи с Архипом Бородкин с сожалением узнал о безрадостном состоянии дел партийного подполья на казенных заводах Южного Урала, о присутствии в рядах подпольщиков разногласий из-за приверженности кое-кого из них к меньшевикам. Но тут же убедился, что революционная работа совсем не заглохла и лучше всего ведется железнодорожниками. Рыбаков трезвостью своих суждений произвел на Бородкина хорошее впечатление. Бород-

кин поделился с ним замыслами о работе на приисках под видом торговли. Замысел Рыбаков посчитал заслуживающим внимания, но предупредил, что, несмотря на вполне достаточные лично для него доказательства о принадлежности Бородкина к партии, его будут тщательно проверять товарищи в Златоусте и в Уфимской губернии, а это железнодорожники, в руках которых здесь ключевые организации революционного подполья большевиков.

Нашло одобрение Рыбакова и появление Бородкина в личине купеческого приказчика, и он посоветовал, укрепляя свои позиции в этом направлении, заводить знакомства с купцами, владельцами лавок и лабазов, а главное внимание уделять кустарям в артелях, изготовляющим известные всей России ножи и вилки из Златоустовской стали, и вновь подтвердил, что, возможно, в них он и найдет товарищей со своего завода, временно не объявивших о своей былой принадлежности к партии.

В Златоусте Бородкин поселился в надежном доме по адресу, данному ему Рыбаковым.

Прожив три дня, Бородкин побывал в полицейском участке, не вызвав своим появлением особого любопытства к своей особе, хотя пристав после осмотра его паспорта и расспросов о московской жизни посоветовал, с кем ему из купечества завести знакомства для осуществления его намерения в начале торгового дела.

С Рыбаковым встречался Бородкин случайно на улице, когда гравер возвращался домой после работы на фабрике. Однако после третьей встречи Рыбаков сообщил, что у него есть основания случайные встречи прекратить, но добавил, что в скором времени позовет его к себе в гости, и дал адрес своего дома в Слободке. Это Бородкина насторожило, припомнилось, что на кратких свиданиях Рыбаков на некоторые вопросы давал уклончивые ответы, и, естественно, появилось предположение, что Рыбаков ему не совсем доверяет до окончания ведущейся проверки.

Стараясь отогнать от себя мрачные предположения, Бородкин заводил знакомства среди купцов и их приказчиков, побывал во многих кустарных артелях, но в них никого из желанных товарищей по заводу не нашел, даже познакомился с основателем артели производительных кооперативных товариществ мастером Аникеевым.

Дни проходили, но приглашения от Рыбакова не было. Бородкина это беспокоило. Он перебирал в памяти все имена товарищей, кои могли подтвердить его партийность включительно до железнодорожников города Екатеринбурга, понимая, что подобная проверка неизбежна и необходима.

И сегодня, когда Бородкин раньше обычного вернулся домой после осмотра арсенала, в котором хранятся и выставлены для обозрения образцы изготовленного прежде и изготовляемого теперь в Златоусте оружия, хозяйка передала ему наказ в четвертом часу зайти домой к Рыбакову и подробно объяснила, какими улицами и переулками ближе пройти в слободку.

Придя в слободку, Бородкин постучал в калитку рыбаковского дома. Залаяла собака, а через минуту миловидная девушка в накинутой на плечи шали, открыв калитку, поздоровавшись, провела его в горницу. Она узкая и продолговатая, в одно окно. Стены оклеены обоями. На стенах полки с книгами. Кровать под стеганым лоскутным одеялом. На окне кружевные занавески. Стол. Над кроватью в рамке фотография женщины в годах с глазами, похожими на глаза впустившей его девушки.

Посидев у стола, полистав лежавшую на нем книжку повести Чехова «Дама с собачкой», Бородкин начал ходить по комнате от неожиданно охватившего его возбужденного состояния в доме Рыбакова. Остановившись у окна с живописным видом на улочку среди елей, Бородкин вздрогнул, услышав за спиной спокойный, но твердый голос:

– Чем заволновался, торговый человек?

Обернувшись, Бородкин увидел перед собой высокую худую женщину в черном суконном платье. На голове у нее черный платок, завязанный по вдовьему уральскому обычаю, из-под которого возле щек выбились наружу седые волосы. Суровое лицо, несмотря на старость,

без глубоких морщин. На нем властные пытливые глаза, от взгляда которых хочется отвести глаза в сторону.

– Ну давай знакомиться, гостенек! Мать я Архипу. Зовут меня Кесинией, величают по батюшке Архиповной. – Старуха подала Бородкину руку, и, пожимая, он почувствовал ее теплоту. – Сына-то в честь своего отца Архипом на свете обозначила. Повидать тебя рада. Сын мне сказывал про тебя. Встреча с новым человеком разум светлит, хотя ноне знакомства надо сводить с незнакомцами с оглядкой. Подлость в них водится из-за денег. У нас тут недавно в Златоусте объявился такой человек в обличии псаломщика при церкви и стал выпытывать, кто из хороших людей в городе к царской особе с каким почтением относится. И представь себе, раскрыла его душевную подлость одна женщина. А под рабочий люд какие хлюсты по приказу полиции прикидываются. Ноне рабочий люд у начальства на подозрительном счету. Не глянется начальству, какое у работяг на ликах выражение. Ты, стало быть, решил здесь свою жизнь означить?

– Как удастся.

– Отчего не удастся. Так понимаю, любая удача от самого себя зависит. Захочешь чего сильно и выполнишь. Ты будто встревоженный чем? Вздрогнул, когда голос подала.

– Вошли неожиданно.

– Вздрагивать ноне не зазор. Страшного вокруг людской жизни много. Из окошка-то чем любовались?

– На хорошем месте живете.

– Сама его выбрала. Дом-то мне отец ставил, когда замуж вышла. Место это в народной памяти в почете. По преданию, будто именно на нем в майский день Емельян Пугачев хлеб-соль принял от крепостных рабов тогдашнего хозяина завода Лунгина. По тому же преданию недолгонько гостил Пугачев в Златоусте. Царицыны солдаты сражение с ним затеяли и осилили. Ушел Пугачев и немало крепостного народу с собой увел. Прадед мой тоже с ним подался, да так где-то и сгинул безвестно, а может, сгубили в пыточных, когда не обозначил своего имени. Понимай, гостенек, какой глубины корень рыбаковского рода в Златоусте, – рассказывая, старуха не отводила взгляда от Бородкина, и ему казалось, что по выражению его лица она старалась выявить, уяснить его состояние.

– У тебя, поди, часы есть? Взгляни, кой час? – спросила старуха.

Бородкин достал из кармана бархатного жилета часы.

– Шестой пошел.

– То и гляжу, что вроде темнеет. Вчерась после полудни домой вернулась.

– Уезжали куда?

– В Челябу по наказу сына ездила. И не зря. Нашла нужного человека, тот гостит у нас. Заодно и внучат поглядела. Дочь у меня младшая там в замужестве.

– Ваш супруг тоже гравером был?

– А как же! Сие ремесло в нашем роду из рук в руки переходит. Раньше шло по мужской линии, а ноне собирается в него и женская линия вплестись. Внучка моя, Архипова дочь Танюшка, исподволь с малолетства к отцовскому ремеслу пристрастилась. Гимназию в Уфе кончила, мы думали, учительствовать пойдет, а она нежданно занялась граверным мастерством и на фабрику поступила. Ты ее видел. Она тебя в дом пустила. Горница эта – ее уголок. Дар у девушки к мастерству гравировки, по слову отца, неплохой имеется. Пусть…

– На портрете ее матушка?

– Она, сердешная. Рано нас осиротила не по своей воле.

– Давно?

– В девятьсот третьем кончила жить. Может, слыхал, что у нас тут народ восставал против казны?

– Нет, не слышал.

Старуха, сощурив веки, покачала головой.

– Стало быть, до мест, где жил, не дошла весть о нашем людском гневе супротив начальства?

– Может, кто и слыхал, но я ведь по торговому делу. Нам не велено хозяевами во всякие беспорядки мастеровых встревать.

– Восстание у нас было серьезное. Каратели, принимавшие его, тоже узнали, почем фунт лиха. Остервенело усмиряли народ. Архип тоже в нем был замешан, полгода в тюрьме дни и ночи считал. Выпустили, потому само начальство за него голос подало. Нужен он фабрике. Потому руки у него искусные. Взяли с него жандармы строгую подписку, чтобы ни в какие рабочие беспорядки носа не совал. Меня в аккурат в Златоусте в те дни не было. У больной дочери жила в Челябе. После родов она грудницей маялась. А вот сноха Любовь Петровна без меня погибла. На второй день после того, как примяли оружием восстание, полиция в слободке повальные обыски вела. Пришли стражники и к нашему дому. Люба отказалась их пустить. Один стражник, озлившись, в окошко в нее выстрелил. Вот как раз в то, у которого сейчас стоишь.

– Ранил?

– Наповал сразил.

– Его судили?

– Награду дали убийце, а покойную обвинили в сопротивлении власти в чрезвычайное время. В тот год на кладбище вдоволь могил прибавилось.

Старуха, встав на ноги, походила по горнице, склонив голову, постояла у кровати, глядя на портрет, и заговорила:

– Пятый год идет, а все не могу привыкнуть к гибели Любы. Правильной женщиной была по всем подобающим статьям. Только и нахожу покой в том, что гляжу в глаза внучки, потому материнский у нее взгляд. Может, тебе и не интересно, о чем говорю, но понимай меня. Годы у меня подошли такие, когда иной разок для своего успокоения от душевной тяжести повиданное и пережитое охота живыми словами вспомнить. А с тобой разговорилась потому, что Архип о тебе хорошо говорил. Лет мне много. Весной восьмой десяток прикончу. Высохла, а все одно живу. Охота дознаться, когда в государстве справедливость для простого человека отыщется.

Бородкин, слушая старуху, наблюдал, как менялся ее взгляд и сколько появилось в нем тепла при воспоминании о снохе.

– Где это Архип подзадержался? Он у меня мужик аккуратный, а тут на тебе. Более чем на час запоздал.

– Может, на фабрике задержали? Вы не беспокойтесь! Я временем располагаю.

– Временем, может, и располагаешь, а нервы свои изводишь. От меня разве скроешь тревогу?! Только с чего она у тебя?

Бородкин не нашелся сразу ответить на вопрос, ибо во дворе залаяла собака, но тотчас смолкла.

– Ну вот и пришел Архип. Легок на помине. Волчок, оконфузившись лаем на хозяина, поджав хвост сейчас в конуру залезет. Хорошая собака. Люба домой принесла щенком, кинутым на проезжую дорогу. Пойдем в большую горницу и пожурим Архипа за неаккуратность.

Когда Бородкин со старухой вошли в просторную комнату, Архип Рыбаков появился в ней из кухни, неся в руках зажженную лампу. Поставив ее на стол, поздоровался с Бородкиным.

– Извиняй, Макарий! Дело было.

– А гостя где потерял, сынок? – спросила старуха.

– Он, мамаша, сейчас заявится с Крючковым.

– Я, сынок, гостя как могла занимала разговорами.

– Садись, Макарий, где поглянется, – предложил Рыбаков.

Бородкин сел на лавку, возле окна, увидел в зеркале, висевшем в простенке, свое отражение. Пол комнаты в половиках. Посредине стол, накрытый к обеду. В кадушках фикусы. Этажерка с книгами, а возле нее граммофон с трубой, расписанной в цвет радуги. Рыбаков спросил Бородкина:

– Жилье по душе?

– Хорошо. Хозяйка скучать не дает. От нее обо всем и вся в городе узнал. И сведения точные.

– Матрена – баба дельная. Говорунья. Но пустого от нее не услышишь. Про восстание рассказывала? – спросила старуха.

– Нет.

– А ты ее спроси. Она все видела своими глазами, потому сама крепко поротая карателями за то, что в них битый кирпич кидала. Почитай, с год ее на всякие допросы таскали, выпытывали об участниках восстания, но слов лишнего не услыхали. Ведь ледащая из себя обликом, а силу душевную в себе превеликую носит.

Рыбаков присмотревшись к Бородкину, спросил:

– Никак чем встревожен, Макарий?

– Таиться не стану. После того как перестали на улице встречаться, беспокоился, что долго меня не звал.

– Извиняй. Так вышло. В твоем деле осторожность нужна. Может, седни все прояснится. И для нас, и для тебя. Потому живем не только по своему желанию. Тревожность твоя мне понятна. Одним словом, седни все прояснится.

Во дворе залаяла собака. Рыбаков вышел в кухню, и Бородкин услышал его разговор с пришедшими. Рыбаков появился в дверях с двумя мужчинами.

– Знакомься, Макар, слесарь нашего депо – Крючков.

Но Бородкин кинулся ко второму пришельцу с криком:

– Геннадий, родной мой!

Они обнялись. Рыбаков громко сказал:

– Ну вот и встретились. И разом все разъяснилось.

Встретившиеся друзья Бородкин и машинист Екатеринбургского узла горнозаводской железной дороги Геннадий Пахомов с повлажневшими глазами смотрели друг на друга. Рыбаков спросил Бородкина:

– Доволен? И ты, товарищ Пахомов, его разом признал.

– Как не признать, когда вместе в одном марксистском кружке заповеди революции постигали.

– Рад с вами познакомиться, товарищ Крючков, – поздоровался с Крючковым Бородкин.

– А как Геннадий дознался, что я здесь?

– За это должны низким поклоном кланяться Архипу, а главным образом его матушке, Кесинии Архиповне. Она меня разыскала в Челябинске.

– Я старуха дошлая, а главное, память у меня хорошая. Лонись осенью была у дочки. Муженек у нее железнодорожник. В разговоре помянул, что у них в депо есть слесарь из Екатеринбурга. Ну поговорили об этом, и конец. Мало ли о чем приходится говорить. Но разговор этот мне пришлось вспомнить, когда Архип вовсе недавно сказал мне, что к нему приходил знакомиться новый человек из Екатеринбурга. Я поняла, что пришельца станут проверять, а посему и высказала ему о разговоре с зятем в Челябе. Он мои слова мимо ушей пропустил. Посоветовавшись с нашими мужиками, послал меня разыскать екатеринбургского слесаря и спросить, знает ли он такого человека из Верх-Исетка, именующего себя Макарием Бородкиным. Ну вот и все.

– Да как же, Кесиния Архиповна, в такие годы?

– Говорила уж тебе, что высохла, а живу. Мне ведь легко вам помогать. Старуха. С виду вовсе монашка. Кто подумает, что тайного революционера разыскиваю. Ладно. Соловьев баснями не кормят. Садитесь, кому где глянется.

– Чем, мамаша с дочкой, станете нас угощать?

– А чем наказывал. Пельмени налепили.

– Дельное блюдо для такой знаменательной встречи. Садитесь, Макарий. Решили мы вчера, что ты завтра с Пахомовым в Челябу подашься. Хотят тебя люди повидать. А там от них и получишь наказ, где и как тебе рабочее дело продолжать. Садитесь! Пельмени едят горячими.

В дверях горницы с блюдом в руках появилась Татьяна, дочь Рыбакова.

Глава VI

1

Солнечный полдень. У Кустовой в горнице на окнах золотились замерзшие стекла. Стол под белой скатертью. На нем самовар, посуда, вазочки с медом и вареньем, шаньги, на тарелках закуски: холодная телятина, селедка в сметане под кружочками лука, соленые огурцы и маринованные рыжики. На хозяйском месте за столом Анна Кустова, возле нее Лукерья Простова, а против хозяйки миасский пристав Камышин. Перед ним графин с водкой.

Камышин – мужчина грузный. Шея у него красная и лицо припотело. Под закуску он выпил не одну рюмку, осоловелыми глазами временами пристально поглядывал на Простову. От его взглядов она конфузилась и, допив чашку чая, встала.

– Благодарствую, Анна Петровна. Пойду погуляю. Голова тяжелая. Должно, переспала седни.

– Погуляй. Денек радостный. Чтобы не было скучно, Васютку с собой прихвати. Он на язык бойкий.

– С вами, господин Камышин, не прощаюсь, потому скоро вернусь.

Пристав, подчеркнуто вежливо привстав, поклонился ей, но ничего не сказал, так как дожевывал кусок телятины. Простова ушла. Пристав, проводив ее взглядом, кончив жевать, сказал:

– До чего приятная дамочка!

– Новая приятельница.

– В гости приехала?

– По делу заехала, но уговорила ее погостить.

– Для бледнолицых барынек воздух Тургояка, прямо сказать, лекарственный. Кто такая?

– Простова из Шадринска.

– Уж не Гришки ли Простова благоверная?

– Она.

Пристав, нахмурившись, покачал головой. Налил рюмку водки и выпил:

– Простов поганый человек. Вся его личность в уголовном тумане. Пьяница. Хорошо его знаю. Купеческий саврас без узды. Бывает же так. Такая приятная женщина шалопаю досталась.

– Поживет у меня, передохнет от мужниных художеств. Обижает он ее.

– Что можно ждать от поганого человека? Если вздумает сюда явиться, немедля меня зовите. Приму дамочку под защиту.

– Сами не управимся, позовем вас на купеческую морду лоск наводить. Мы слыхали, вы мастер на этот счет.

– При известном настроении могу. Простова отлакирую с удовольствием.

– Кушайте, Мирон Сергеевич. К рыжикам, гляжу, еще не касались. Неплохие грибочки.

– У вас все первый сорт. Сами посудите, всю еду в одно брюхо не сложишь. Вон как за последний год отъелся. Жирноват ведь? Жена даже обижается на мою грузность. Кроме того, при хождении одышка одолевает. Сейчас выпью последнюю рюмашку и попрошу налить чаю покрепче.

Анна налила стакан чая.

– Варенье сами по вкусу выбирайте. Мед в той вазочке.

– Первый стакан выкушаю с малиновым. Малиновое у вас просто удивительное. Сами варите?

– На это у меня бабушка Семеновна мастерица.

– Мудрая старуха. Только нашего брата не любит. Так прямо и говорит: «Не по душе мне селедочное племя с кокардами». От крепостных времен, видно, в ней нелюбовь к полиции. Хотя и нынче полиция у народа не в чести после пятого года. Не хотят люди понимать, что полиция – оплот власти государя императора.

– Как прикажете понимать, Мирон Сергеевич, ваш заезд ко мне? Просто ли обо мне соскучились? Либо дело какое дорогу указало и заставило к моему дому свернуть?

– Еду из Златоуста. Вызвало жандармское начальство. В городе опять мастеровые копошиться начинают. Мы надеялись, что залили пожар революции, да, видать, не доглядели, кое-где еще головешки тлеют. Вот и приказано глядеть в оба, чтобы головешки не загорелись. К вам приехал разговаривать по четырем пунктам. Налейте еще стакашик. И позвольте приступить к беседе делового характера. Первый пункт разговора политический. Начальство требует от вас, Анна Петровна…

– Требовать, Мирон Сергеевич, ваше начальство от меня не может, потому я у него не в подчинении, не на оплате.

– Видите ли, Анна Петровна, начальство знает, что ваше слово неоспоримо, особливо у женского сословия. Вот и нужно, чтобы вы это сословие вашей мудростью сдерживали, не дозволяли ему супротивничать против хозяйских законов и порядков на промыслах.

– А само начальство немым стало? Или гордость в нем такая великая, что ему не с руки с простым народом разговаривать?

– Про то ничего сказать не могу. Потому начальство со мной не откровенничает о своих замыслах. Но ведь вам-то с народом проще по душам поговорить.

– По душам разговариваю по своему желанию, а не по приказу начальства. Обозлили народ, а как его успокоить, не знаете. У народа пятого годика разумнее меня советники завелись. Вот пусть им ваше начальство прикажет.

– Вам же не поглянется, если в ваши казармы полиция начнет наведываться?

– В моих казармах бабы грамотные. Это пусть полиция учтет. Пусть вспомнит, как прошлой осенью ингушей бабы лопатами крестили на Григорьевском промысле. Полиции теперь люди не больно пужаются. Глядите, не больно засылайте своих чинов на миасские промыслы. Пока зима, а посему спите спокойно. Только зимой не тревожьтесь. Потому ссадины и ожоги пятого года на спинах у баб еще саднеют. Мое слово для бабы – закон в других делах, а в тех, за которое ваше начальство печется, оно не дороже плевка. Недоволен народ хозяйской блажью. Тут вам его ничем от неудовольствия не отучить. По первому пункту вашей беседы мы не договоримся. Пусть ваше начальство ко мне явится, когда что противозаконное сотворю.

– Но ведь начальство может найти людей, кои против вас пакость сотворят. Обвинят в чем-либо. Нынче ведь листок из плохой книжки в сибирскую сторону дорогу указывает.

– Оклеветать жандармы умеют. Знаю ихние фокусы. Только и они знают, что я не полоумная и не пужливая. Припомните, как в пятом годике уфимские жандармы меня к Песковскому делу пришивали, да ниточка у них порвалась, потому была гнилая.

– Да! Для политической помощи для государственных слуг вы не пригодны.

– Начисто не пригодна.

– Расстроили меня вашей категоричностью. Придется еще рюмашку для успокоения пропустить.

– Пейте на здоровье.

– Второй пункт личного характера, просьба моей благоверной. Прослышала она про одну вашу корову хорошего племени. Наказала мне откупить у вас от нее приплод. Что скажете?

– Догадываюсь, какая буренушка ее заинтересовала. На ваше счастье, недавно отелилась.

– Бычком?

– Чернявенькой телочкой.

– Какая за нее цена?

– Так возьмите для Прасковьи Федоровны. Вроде как подарок.

– Да это, пожалуй, неудобно, но перечить не стану. Благодарю от себя и от жены.

– Теперь понимаете, что не всегда несговорчива.

– Сложный вы человек, Анна Петровна. Ужасно сложный по смелому разумению по многим вопросам. Теперь третий разговор. Начать его придется так: с месяц, а может, чуть и больше, приехал в Сатку на жительство рязанский купец-рыбник. Купил у Прохорова дом да золотые прииски. Прохоров охотно продал, потому сгорел от вина. Так вот этот рязанец решил золотую рыбку ловить. Познакомился я с ним. Видать, друг другу понравились. Порассказал он мне про свою жизнь.

– По фамилии кто?

– Кустов Петр Тереньтевич. Слыхали про такого?

Анна, не отводя взгляда от пристава, спокойно ответила на вопрос:

– Доводилось.

– Выходит, ваш законный супруг? Говорил о вас с благоволением. Ни в чем не винил.

– Сказал про причину, из-за которой раздельно живем?

– Упаси бог! Словом не обмолвился о таком. Живет памятью о вас и воспитанием дочери. По должности своей я обязан быть любопытным. Спросил, зачем решил вдруг золотом заняться, а он душевно и просто ответил: «Хочу быть ближе к жизни Анны». Подумайте только, какая завидная и редкая в наше время привязанность мужа к жене после столь длительной разлуки. Она меня до слезы растрогала.

Пристав наблюдал за Анной. Видел, как ее рука согнула в кружок серебряную чайную ложку.

– Не волнуйтесь! Худого Петр Терентьевич ничего не замышляет. Просил только меня привезти ему от вас дозволение на свидание. Сразу не решайте. Подумайте.

– Как ни пряталась, а все-таки нашел.

– Годы искал, и нашел. Все одно, как вы нашли свой фарт.

– Зря искал.

– Как жестко сказали!

– Зато правду.

– Понимаю. Не из-за разбитого блюдца изволили его с родной дочерью покинуть. Была причина, но любопытствовать не буду. Уважаю тайну чужой семейной драмы. Я ему говорил, что мне совсем неудобно к вам с его просьбой ехать. Говорил ему: имею понятие, что в чужую личную жизнь, как в спальню, можно отворять дверь, только постучавшись. Но он так убедительно просил оказать ему помощь, что я согласился.

Анна встала из-за стола. Подошла к окну и, не оборачиваясь к приставу, сказала:

– Скажите Петру, пусть приезжает, если есть охота со мной повидаться.

От неожиданности у пристава от слов Анны на лбу выступили капли пота. Стерев их ладонью, он прерывающимся от волнения голосом сказал:

– Боже мой, какое благородство женской душевности проявили.

– Что о дочери говорил?

– Гимназию она кончила. Карточку с нее показывал. Вылитый ваш портрет. Если не обидитесь, то добавлю, что пригожесть ее молодости еще цветистее вашей.

– Совсем она меня не знает. Чужая ей. Пятимесячной покинула.

– Мать вы ей. Не узнаю вас. Тревожная стали. Пустяков пугаетесь. Посему последний разговор затевать не стану. Он вплотную к вашему сердцу подходит.

Анна, обернувшись к приставу, смотрела на него привычным для нее взглядом:

– Нет, Мирон Сергеевич, говорите.

Пристав, пожав плечами, закурил папиросу.

– Вы-то с чего волнуетесь? – спросила, улыбнувшись, Анна.

– Говорить будем о господине Болотине.

– Сказывайте.

– Вчера завез ему бумагу, освобождающую его от полицейского надзора и разрешающую вернуться к прежнему месту жительства – в Москву.

– Какая великая радость для него!

– А для вас?

На вопрос пристава Анна не ответила, но снова села к столу.

– Понимаю ваше молчание… Конечно, в моей власти задержать его здесь. Сообщу, что вел себя за ссыльный срок не совсем правильно. Только скажите. Донесу рапортом. Прошлым летом на приисках была обнаружена запрещенная литература. Вот ее и припишу господину Болотину.

– Но она же не его?

– А разве это важно? От меня зависит сделать его собственником той литературы. Мне ведь известно, что для вас он человек небезразличный.

– Рада за Михаила Павловича. Не место ему здесь. Вольность любит.

– Опасную вольность. Упрячет она его в Сибирь.

– Всякий человек в свою звезду верит.

– Тоже правильно. Уверены, что он со своей вольностью дальше вашей заимки не уйдет?

– Все может быть. Только решать свою судьбу будет без нас. Сделайте милость, поперек дороги не становитесь, Мирон Сергеевич. Дайте слово!

– Даю!.. Думаю, можно домой трогаться. Лошади отдохнули, сам изрядно выпил и закусил, с вами договорился. Телочку дозволите с собой захватить?

– Рановато ее от матери отрывать. Сама доставлю.

– Как прикажете. Да, чуть не забыл. Захар Степанович Луганин прислал вам поклон. Новости про него слышали?

– Нет.

– Как же так? Совсем затворились в своем доме. Взбудоражил он весь уезд, а может, даже и весь Урал. Отказался богатей свои промыслы продать бельгийской компании. Сам решил весной мыть золото. Сколько лет пески лежали втуне, а тут на тебе. Решил в постные пески капитал закопать. Чудит! Отдал бы иностранцам, так нет – решил в патриотизм играть. Из Кушвы идет эта болезнь нетерпимости к иностранцам. Воронов Влас ей корень. Выдумал сдуру Влас, что русское золото должны добывать из уральской земли только русские руки.

– Какой же Луганин молодец! Недаром считают его умником. Правильно делает. Нечего иноземных голозадых воров в новую одежду рядить на уральском золоте.

– Стало быть, и вы такого же мнения? Глядите, Анна Петровна, вороновская блажь о сем не по душе сановному Петербургу. Могут оттуда цыкнуть на кушвинского Власа.

– Что вы! Да кто осмелится на него цыкнуть? Влас Воронов – голова всем нашим золотопромышленникам.

– Не все они его соратники.

– Супротивники не в счет. Мелочь. Шавки, лающие из подворотен.

– Говорю вам, что скоро найдется на него крепкая рука. Зажмет его дыхание, и задохнется человек. По секрету скажу: по его делу Петербург послал сюда высокого сановника.

– Да хоть двух! Влас от своей мысли не отступит. Кто я? Никто! А сама неделю назад купила прииск на Кочкаре от Простовой, чтобы ее муженек не продал его чужеземцам.

– Она хозяйка прииска?

– От отца в наследство достался.

– Стало быть, и вы золотопромышленница? В добрый час! Выходит, золото к золоту. Как хотите, такую новость надо обмыть рюмочкой.

Пристав налил себе водки. Встал, держа рюмку перед собой, сказал торжественно:

– За ваше здравие, Анна Петровна! И, как говорят, «золото на грязи».

После отъезда пристава Анна, одевшись, ушла из дому на берег озера. Весть о приезде на Урал мужа, взволновав, не испугала. Зато до озноба во всем теле напугала весть о полученной Болотиным бумаги о свободе. Весь разум заняла мысль о боязни потерять любимого. Вспомнила его прежние мечты о Москве, о прерванном учении в университете и вновь беспомощно растерялась, сознавая, что ей нечем его остановить около себя, если решит уехать. Любила его. Но не знала, любит ли он ее. Если бы знала о его чувстве, была бы спокойна. Тогда бы верила, что одним ласковым словом, одной слезинкой удержит его для своего счастья. Спрашивала себя, что делать, и, не найдя ответа, решила не мучить себя догадками, а немедля поехать к любимому, спросить, останется ли он возле нее.

К Миасскому заводу Анна подъезжала, когда из-за Ильменских хребтов показалась полная луна. От ее света на лесной дороге лежали шали узорных теней. Снега переливались блестками. Вспыхивали на них то синие искорки, то будто скользило по ним голубое пламя, а от этого казалось, что студенее становился мороз.

Монотонный скрип полозьев, фырканье поседевшей от инея лошади успокоили Анну. Нашлись мысли, которых не могла найти во время прогулки возле озера, и она была готова, приехав к любимому, ни о чем его не спрашивать, побыть с ним, терпеливо ждать, когда сам скажет о своем неизменном желании уехать в Москву…

На заводе Анна оставила лошадь на постоялом дворе, как обычно, пешком пошла в школу по пустынным, лунным улицам. Еще издали увидела свет в окнах Болотина. Подойдя к школе, с завалинки заглянула в освещенное окно, но стекла промерзли, потому ничего не увидела. Дверь открыл сторож Федот. Увидев Анну, старик от удивления всплеснул руками:

– Анна Петровна! Нежданно-негаданно. Милости прошу.

– Дома?

– А где ему быть? К Кирпичниковым звали на вечеринку, так не пошел. Вот обрадуется…

Тихонько отворив дверь, Анна вошла в комнату Болотина. Увидела любимого у стола. На полу раскрытый чемодан. Болотин, не оборачиваясь, сказал:

– Федот, поставь самоварчик! До того чаю захотелось!

Не спуская глаз с чемодана, Анна позвала:

– Миша!

Болотин обернулся, бросился к ней:

– Аннушка! Дорогая, раздевайся скорее. Замерзла-то как!

Анна в его объятиях боялась пошевелиться.

– Аннушка! Да что с тобой? Раздевайся! Дай помогу. Встань к печке. Федот только недавно трубу закрыл.

Анна разделась, покорно подошла к печке, прислонилась к ней.

– Что с тобой, дорогая? Случилось что-нибудь?

– К отъезду готовишься?

– К какому отъезду?

– Чемодан собирал. Пристав Камышин…

Болотин засмеялся:

– Глупая. Рылся в чемодане. Искал чистую рубаху. В гости звали. Рубаху не нашел и не пошел.

– Господи, а я-то думала…

– Сколько раз просил тебя не думать, а спрашивать. Камышин уже успел побывать у тебя?

– Сегодня был.

– Вот чудак. Поторопился донести. Сам собирался к тебе завтра. Получил, Аннушка, разрешение вернуться домой. Кончилась высылка.

– Знаю.

– Рада?

– За тебя рада. Поедешь? Не бойся сказать правду.

– Нет, не поеду.

– Миша! – Анна подошла к нему. Упала перед ним на колени. Охватила руками его ноги. Прижалась к ним. – Правду сказал? Со мной останешься?

– Встань, милая. Разве можно так? – Болотин поднял Анну на ноги, усадил. Сам встал перед ней на колени. Смотрел на нее, видел, как из ее глаз струились слезы по бледным щекам. – Успокойся. Неужели могла подумать, что так просто уйду от тебя? Неужели думала, что могу оставить тебя, забыв всю радость, подаренную тобой за два года? Что ты, Аннушка? О чем плачешь?

– Люблю тебя! Неужели, Миша, не знал, что давно люблю тебя! Не могу больше молчать об этом! Жить без тебя не могу! Ума лишаюсь, как подумаю, что покинешь меня. Вся твоя. Не только с ласками была возле тебя. Душу возле тебя грела. Неужели не передумаешь и не поедешь в Москву? Со мной останешься… Любишь меня?

После ее вопроса Болотин молча поднялся с колен. Стоял у стола, закрыв лицо руками. Анна переспросила:

– Любишь?

– Наверное, люблю. Когда получил бумаги, несказанно обрадовался, но исчезла радость, как вспомнил о тебе. Понял, что, если решу уехать, с половины пути вернусь.

Слушала Анна, низко склонив голову. Слышала ясно каждое слово Болотина, а самой казалось, что будто слышит их не наяву. Поднялась со стула, подошла к Болотину, поцеловала его руки, прижатые к лицу.

– Спасибо, Миша, большое спасибо, родной!

Отняв руки от лица, Болотин видел, как она взяла с постели свою шубу.

– Куда ты?

– Домой.

– С ума сошла?

– Хочу остаться одна с радостью. Понять, запомнить хочу в одиночестве, чтобы навек сохранить радость в памяти.

– Никуда тебя не отпущу. Поняла? Моя ты!

– Конечно, твоя.

Болотин обнял и крепко поцеловал Анну. Шуба из рук Анны упала на пол. Она слышала шепот Болотина:

– Останься со мной до утра. Мы же сознались друг другу…

Анна ответила так же шепотом:

– Останусь…

2

К казарме, прозванной Девкиным бараком, в сугробных наметах протоптан глубокий желоб тропы. Тусклый свет в окнах казармы.

Просторную ее внутренность освещала потолочная лампа с закоптелым стеклом. Свет от огня желтый. На бревенчатых стенах бусины затвердевшей смолы. На полу рогожи. На входной двери в пазах кошма, в пушистом инее, обледеневшая у пола.

Вдоль стен – деревянные кровати за ситцевыми пологами, разными по цвету и рисункам. Длинный стол из толстых досок на козлах, возле него лавки. Возле рукомойника и кадки с

водой в углу сложены в кучу старательские инструменты. Дрова у печки, а на снопе соломы слепые щенята сосут матку. Жителей в эту зиму негусто. Невидимые за каким-то пологом стукают часы-ходики. А у среднего окна, поджав под себя ноги, сидела Амина и пела старинную унылую башкирскую песню, аккомпанируя себе на гитаре.

На кровати с отдернутым пологом лежала с изможденным лицом Катерина, обезножившая с осени от ревматизма. Ее дочь Дуняша, девочка-подросток, худенькая, вся из одних косточек, облокотилась на стол, положив голову на левую ладонь, задумавшись, ела из глиняной миски пшенную кашу. Светлые, как солома, волосы девочки заплетены в две жиденькие косички с алыми ленточками. Косоплечая грудастая Тимофеевна, сидя на дровах, щипала от полена лучину. Аккуратно одетая Антонина ставила самовар. Отодвинув от стола скамейку под свет лампы, читала книжку Паша. На печи лежала Зоя-Рюмочка и лущила семечки. Подле рукомойника, подоткнув подол, в одном лифе, стирала белье Алена. В щелях бревен задорно скрипели сверчки.

– Дуняша!

Девочка, очнувшись от раздумья, вопросительно посмотрела на Тимофеевну:

– Чего тебе?

– О чем призадумалась, девочка?

– Песню слушаю. Какая она не схожая с нашими по напеву.

– Башкирская. Оттого и не схожая.

– Мне глянется, Амина хорошо поет.

– Тоскливая больно, – вздохнув, сказала Зоя. – Но слушать ее приятно, потому Амина поет. С таким голосом ни в жизнь бы по приискам не моталась.

– А куда б подалась?

– Пошла бы, Тимофеевна, в шантан. Шансонеткой петь дуроголовым купцам. Ногами бы в крахмальных юбках дрыгала.

– Скажешь тоже! Эх, Зоинька… Амина плясать не умеет. Вот ты на это мастерица. В пляске легонькая, будто перышко. Но зато голосочка у тебя нет.

– Знаю.

– Люди сказывали, будто ты на ярмарке в балагане представляла. Поди, врут, завидуя твоей вальяжности?

– Сущая правда, Дуняша! Турчанкой наряженная в шальварах в танце голым пузом крутила. Но не судьба мне балериной быть.

– Что так?

– Характер гордый. Купец на сильном взводе мне сигарой холку прижег. Мне бы стерпеть и красненькую с него за нахальство взять. Так нет! Я его по морде дрыбалызнула, да так ловко, что вставные челюсти его в черепки раскрошила. Он меня в полицию поволок. Спасибо, знакомый пристав признал, что правильно поступила. С ярмарки все же пришлось убраться. С весны решила в театр поступить. Ревнивых любовниц стану представлять. Здорово они у меня получаются. Прямо будто на самом деле.

– Помолчи, Зоя! Читать мешаешь.

– А я с тобой, Пашенька, будто не разговариваю. Умница-разумница. Без малого год одну книжку читаешь. Может, наизусть учишь?

– Эту книжку не один год можно читать. Про рабочий класс написано, про его свободную жизнь. От этой книжки разум светлеет. Мы ведь рабочие.

– Не про нас в ней написано. Мы приисковые. Свободу получим, когда в гроб ляжем либо когда фарт вырвем. Советую тебе, Паша, легче такими книжками зачитываться. За них урядник может сурик из носу выпустить, а казак чубастый мягкое место нагаечкой нахлестать, а то сошлют куда-нибудь, вроде как студента Болотина.

– Об этом не бойся. Прятать умею.

– Зойка правильно толкует, Паша. Мало толку, что в книжках хорошее про нашу будущую жизнь прописано. Такие книжки только мозги у рабочего люда набекрень сворачивают. Аль не видывала, как ингуши с казаками нагайками на промыслах людей пороли. Да и не за книжки, а только за то, что про такие книжки краем уха слышали.

– Думаешь, не настанет время, когда не посмеют нас трогать? Сами стеной пойдем на душителей.

– Тише ты!

– А чего тише? – спросила Алена, перестав стирать. Вытерла о юбку мыльную пену с рук, подошла к столу. – Говори, Паша, полным голосом. Не бойся! Лонись летом на прииске слесарь чинил у нас насосы, так он прямо сказал, что в пятом году народ рабочий только силу свою опробовал. Примерялся, значит. И что обязательно поднимется снова на борьбу за свободу. Только надо подождать. Подождать надо. Дело это сурьезное. Помню, слушали мы того слесаря, а у самих от волнения сердца заходили.

– Говорил он, что труд пойдет боем на капитал?

– Обязательно говорил.

– Так. А кто тогда нас, Пашенька, кормить станет?

– Не печалься, Тимофеевна, народ сам себя зачнет кормить. Своими мозолистыми руками радостней станет свой хлеб добывать.

– Боюсь, что с таких хлебов недолго будем бродить по свету.

– Не понимаешь, Тимофеевна. Придет время, и ты поймешь. Волю почуешь, вздохнешь полной грудью.

– И сейчас к столбу не привязана. Я и сейчас дышу. Смотри, девка, зря из-за книжек по соснам на небо лезешь. За такие речи моего мужика в пятом году в Тагиле стражники убили. С красным флагом шел. Царскую Россию хотел вверх тормашками перевернуть, да только сам, сердешный, помер, когда нагайки в пузе кишки спутали.

– Знаю про такое. Обманули царь и дворяне народ. Зато вдругорядь не обманут. Он говорит, что вдругорядь не обманут.

– Кто?

– Есть такой человек на свете! Нельзя, понимаешь, зря его имя поминать. Есть такой человек! Правду говорю!

– Не кричи! Не глухие мы. Понимаю, о чем речь ведешь. Думаешь, вовсе дура? Молчи про такое.

– Нас ей, Тимофеевна, бояться нечего. Стражнику не донесем. Может, ты донесешь? Тогда смотри. Помни, что у тебя ноги не на болтах, выдергаем, – сказала Антонина.

– Не стращай, Тонька! Не боязливая. В подлюгу меня не обряжай. Из одного теста замешаны с тобой. Только во мне осторожность водится, потому доле тебя на свете прожила. А ты, Барынька, ступай, и шмотки свои достирывай!

– Видать, завидуешь моему прозвищу? При настоящем инженере заместо жены ходила. Старик меня любил. Захотела бы, могла бы его законной супругой стать, – сказала Алена.

– А ты не захотела?

– Именно, что не захотела. Потому поняла, не смогу из-за темноты стать ему верной подругой. Настоящая барыня из меня не выйдет. Из кренделя шанежку не выпечешь. Молодая была, совесть имела. Теперь бы не так поступила. Нахально пролезла бы в инженерши, стала бы фордыбачить над такими, как вы.

– Сказку сказываешь про свою совесть. Не ври нам. Скажи просто. Потискал барин, отдарил, вывел за ворота, шагай, дескать, по любой дороге. Ты по привычке на промыслы свернула.

– Дура ты, Тимофеевна, завидущая!

– И то дура, что с вами под одной крышей живу. Ноне весной расстанусь навек.

– Врешь. Лонись тоже грозилась, – сказала Зоя, слезая с печки. – Чего ты все время хвастаешь. – Зоя бросила в ведро под рукомойником шелуху, потянулась. – Никуда ты от нас не уйдешь. Мы тебя кормим, ты на нас стряпаешь.

– Увидишь, уйду.

– Уходи, сделай одолжение! Мне плевать на это. Похлебку сама сварить сумею. Вот холодно мне сейчас. Кровь застоялась. Погорячить бы ее возле мужского сердца горячего. Паренька бы какого полюбить. Приручить к себе, как собачонку. Вроде как наша Анна Петровна студента московского приручила.

Тимофеевна ехидно засмеялась:

– Размечталась ворона лебедушкой стать.

– Смеешься? Хочешь поглядеть, как уведу студента от Кустовой своим подмигом?

– Будет! Со смеху уморишь.

– Гляди на меня. Скажешь, плохая девка? Точеная. Талия какая. В рюмочку. Как кошечка – приласкаюсь, обовью собой, а чуть что – коготки выпущу, оцарапаю до крови. Из моих бархатистых ручек трудно вырваться.

– Смехота! Послушайте, бабоньки… Да чтобы студента к себе приманить да увести, надо золотую цепочку иметь, а у тебя даже медной нет. Крест нательный на суровой нитке носишь, Кошечка!

– Самовар скипел, – сказала Антонина. – Давайте чай пить. Дуняшка, собирай стол к чаю!

Девочка нехотя стала носить на стол чашки. Зоя подошла к Паше.

– Расскажешь, о чем в книжке написано?

– Не поверишь? Посмеиваешься, когда говорю о свободе простого люда.

– Мало ли что? Ты уверь меня. Думаешь, пустоголовая? – Зоя села рядом с Пашей, обняла ее за плечи.

– Не лезь ко мне с объятиями.

– Холодно мне, Пашенька. Погреться возле тебя хочу. Славная ты! Взгляд у тебя, как у мученицы на иконе. Ничего не скажешь, красивая девка, но греха в красоте мало! А говоришь как! Будто горишь вся.

Антонина поставила на стол самовар, заварила чай, подошла к кровати Катерины:

– Спишь?

– Дремала.

– Чай станешь пить?

– Налей!

– Может, к столу тебя перенести?

– Не смогу сидеть, Танюшка. Ноне, не приведи бог, как ломит ноги. Видно, опять занепогодит.

– Тебя Анна Петровна в обед проведать заходила. Спала ты.

– Вот ведь какие! Разбудить не могли… Как она?

– Радостная такая. Мяса нам на щи послала.

– Радостная, говоришь? Непонятная у нее душа, то суровая, то, как окошко в солнечный день, растворена для чужого горя.

Антонина разливала чай, Дуняша с прежней неохотой расставляла полные чашки по столу. Спросила Антонину:

– Хлеб какой резать?

– С кренделями станем пить. Сбегай в сени. На холоду они.

Девочка вышла в сени, вернулась с кренделями, положила вязанку на стол.

– Тонь! Не знаешь, по какой надобности к хозяйке пристав приезжал? – спросила Тимофеевна.

– Не знаю.

– Я знаю, – ответила Зоя. – За телушкой. Скотиной этой зимой взятки берет. А может, и не за телушкой. После его отъезда хозяйка в Миасс подалась. Думай – разумей. Так думаю. И ей, как мне, холодно было, вот и грелась возле милого дружка.

– Садитесь чай пить. Стынет. Амина, чего не идешь?

Амина подошла к столу, поцеловала голову Дуняши, села рядом с ней. Антонина с чашкой села на кровать Катерины и стала поить больную с ложки.

– Я сама, Тонюшка. Пусть малость поостынет.

Антонина поставила чашку на пол около кровати, остановилась возле Амины и сказала:

– Вот давеча о Михаиле Павловиче больно вольно говорили. Будто даже с издевкой. А ведь он какой? Такого, как он, может полюбить самая что ни на есть хорошая девушка. Прошедшим летом с ним да с хозяйкой по грибы ходила. Ненастье нас в лесу застало. Укрылись мы в Вороньем скиту. Тут Михаил Павлович и стал о нашем бабьем сословии говорить. Чувства наши женские разбирать. И так хорошо говорил. Одно высказывание до сей поры помню.

– Ну скажи, ежели помнишь! – попросила Зоя.

– По его словам выходит, что женщина, любая, значит, по сословию, является для народа самым хорошим, что у него водится. Только будто женская душа и может учреждать на земле счастливый рай. Наши чувства, понимаете, женские чувства могут благословить свободную жизнь народа.

– Говори! Чего замолчала?

– Соврать боюсь. Вспоминаю. Ага, вспомнила. Сейчас женщина всем принижена, доведена, горестная, до покорности невольницы. Но ее великие страдания жены, матери, подруги помогут ей отыскать путь в новую свободную жизнь без рабской покорности ее разума и души. Женщины подарят России радость. Чудо души женщин затемнит чудеса божеские, и понесет она свет сего чуда в своих нежных руках для радости всех, кому решит подарить свою любовь.

– Ты не сама такие слова придумала? – спросила Амина.

– Да разве смогла бы?

– Они как песня. Их петь можно. Ты потом еще раз скажи мне. Запишу. Петь стану в лесу. Такая песня выйдет. Леший плакать будет.

За столом наступила тишина. Услышали голос Катерины:

– Вот уж тогда нельзя будет вдову хворую, жену солдата с малолеткой бросать на голодную смерть.

Тимофеевна положила голову на руки и заплакала, вздрагивая плечами.

– О чем ты? – спросила участливо Зоя. – Да успокойся. Вот не думала, что реветь умеешь.

– После Тониных слов о своем вспомнила. Чать, тоже женщина. Только нежность мои руки покинула, как стала лопатой пески перегребать.

– На нас не сердись. Схватываемся с тобой, когда перечишь нам, а тебя все одно любим. Амина, ты про что сегодня пела?

– Бабушкина песня. Сердитая у меня бабушка. Ее любимая песня. Душа всякой женщины одинакова, потому как в русской душе, так и в башкирской любовь родится, а от нее новая жизнь. Дуня, когда летом пойдем на старанье – будем вместе петь.

Открылась входная дверь, в тумане холода вошла Анна Кустова.

– Еще разок здравствуйте, кого не видела. К Кате пришла.

– Здравствуйте, Анна Петровна! Была седни, когда я спала?

– Была. И вот сызнова пришла. Маешься? Потерпи малость. Завтра отвезу тебя в миасскую больницу, а оттуда по весне сама на заимку пешком придешь.

– Беспокойство тебе со мной.

– Об этом не думай. Дуня! – позвала Кустова девочку.

– Здеся я. Чай пью.

– С утра станешь жить во флигеле с гостьей. За порядком будешь следить, пока мать в больнице.

– Ладно. Как велишь. Во флигеле печка небольшая. Управлюсь.

– Амина! Спать не хочешь?

– Зачем спать?

– Тогда пойдем со мной. Попоешь для меня.

– Ладно, хозяйка.

– Аль не просила тебя не звать меня так?

– Просила. Для меня ты – хозяйка. Сплю под твоей крышей.

– Любишь спорить? Приходи скорей! Покойной ночи, бабоньки!

Анна Петровна вышла из казармы. Амина допила из чашки чай и начала одеваться. Напевая, взяла гитару и вышла следом за Кустовой.

– И какой это чемор[9] в штанах бабе с такой душой выдумал прозвище Волчица? – вставая из-за стола, сказала Антонина и громко спросила: – Напились, что ли?

На ее вопрос никто не проронил ни слова.

– Ежели молчите, значит, напились. Дуня, собирай со стола посуду!

– Ладно. Я еще чашку выпью, потому крендель не доела…

[9] Чемор – черт, дьявол, нечистый.

Глава VII

1

У крыла Сатку ночная непроглядность. Будто пала на горный завод стая вещих воронов, не сложив крыльев. Спит в февральской стуже раскольничье гнездо на южном склоне отрогов Уренгинской ветви Уральского хребта. Дыбятся вокруг него вершины гор, похожие на волны каменного океана. Ближе всех к Сатке придвинулись богатырским заслоном лесистые Зигальга, Нургут и Зираткуль. Эти места издавна ширью девственных лесов и горным безграничьем приманивали к себе раскол. Свободно здесь всякому человеку, коему нужна вольность и одиночество. Оттого возле Саткинского завода множество потаенных скитов и молелен. Хоронится в них религиозный фанатизм раскольников, спасает себя от царства Антихриста, заведенного в государстве Российском царем Петром по счету Первым на романовском троне. Крепок раскол в Сатке, даже заводские интеллигенты двумя перстами крестятся…

Душно в спальне Олимпиады Модестовны Сучковой. Цветные изразцы печки пышут жаром. Петровских годин изразцы. Излажены в голландской земле, оттого на них голубые кораблики с парусами да ветряные мельницы. Из-за духоты в горнице опадает огонек в лампадке. Как увядающий цветок, стелется он по пробковому поплавку. По этой причине и горький дух нагретого деревянного масла в горнице.

Старый каменный дом рода Сучковых в заводе приметный. Сложен из подпятного кирпича в два этажа. Обдут всеми ветрами уральскими, остужен всякими морозами, исхлестан дождями, кален на солнце. Все в нем по-старинному крепко, но с видимостью усторожливой суровости.

В первом этаже спальня Олимпиады Модестовны. Потолок в ней со сводами, и опираются их тяжелые плечи на колонны, облицованные мраморными, малахитовыми и яшмовыми плитками. Часы на стене висят над пузатым комодом. Хрипло отстукивают секунды. Ход механизма похож на дыхание старика, замученного одышкой.

Третий час ночи. Олимпиада Модестовна лежит на тяжелой деревянной кровати под пуховым одеялом. Старое, но не утратившее красоту лицо в прядях седых волос. Нет сегодня для нее сна. Легла после полуночи, а заснуть не может. Лежит в раздумьях и ждет рассвета, а зимняя ночь длинная-предлинная. Тягостно старухе без сна. Заводятся в ее разуме шалые раздумья. Все в жизни Олимпиады Модестовны было по-ладному, по-хорошему. Завела в доме во всем крепкий уклад по заветам родовых книг. Все было продумано, налажено в нем до вчерашнего утра. А началось вчерашнее утро с перезвонов колокольцев с бубенцами на тройке, примчавшей к воротам дома внучку Софью Сучкову.

По тому, какой походкой внучка вошла в дом, как обняла бабушку без привычного боязливого уважения, Олимпиада Модестовна учуяла, что в родительский дом вернулась жизнь со всеми ухватками покойного сына Тимофея. Семнадцать лет опекала старуха добро огромного наследства, отстраняя внучку-наследницу от всех забот. Когда та начала спрашивать о делах, то отправила любопытную наследницу в столицу учиться. Умирая, сын Тимофей все родовое богатство оставил дочери Софье, а было тогда наследнице пять лет. По его завещанию становилась она хозяйкой всего по достижении двадцати двух лет. И вот вчера Софья нежданно объявилась в доме с бумагами о вступлении в права наследства. Не могла старуха не заметить, как шагнула внучка в отцовский дом хозяйкой, лишив старуху привычной власти. О многом думала сейчас Олимпиада Модестовна, многое ее пугало, а главное, что любопытная внучка, конечно, начнет дознаваться и дознается, почему за последние годы на промыслах

стали меньше вымывать золота. Обязательно найдутся, если уже не нашлись, люди, которые расскажут ей правду про то, как ставились по краю на сучковские деньги новые дома богатеющих приказчиков и управителей. Скажут, кто из них какой походкой ходил по дому, пребывая у старухи в фаворе. Скажут о том, как с помощью Олимпиады Модестовны свил паучье гнездо на Южном Урале Осип Дымкин. Понимала Олимпиада Модестовна, что трудно будет ей прятать концы в воду, водятся у нее недруги во всяком обличии, не всем она приходилась по душе из-за властолюбия. А ведь как жила в эти годы! По всему Уралу шла о ней молва. В довольстве жила, в почете. А ей все казалось, что этого мало.

Из вчерашнего беглого разговора с Софьей старуха осознала, что разумом внучка вышла в отца. Своим умом намеревалась жить. И ведь до чего хитрющей оказалась! До последнего дня характера не выявляла, покорность свою перед бабушкой не забывала, а как вступила в права, разом во весь рост выпрямилась. Хуже всего, что в столице не осталась. Старухе ясно, что родной край накрепко запал в ее сознание с детских лет. А старуха надеялась, что в Петербурге Софья обзаведется семейной жизнью. Все для этого у девки имеется. И обликом вышла, а главное, при каком богатстве! Но Софья решила по-иному. Ждала своего часа в тени укромного места, ждала момента выйти на солнышко да спросить полным голосом у бабушки, по какой причине скрипят в родном доме половицы у двери. Знала старуха, что вчера Софья до позднего часа с доверенным листала «золотые» книги. Сверяла их с записями в своей сафьяновой тетрадочке. Удивляло старуху, кто это мог так старательно сообщать ей в столицу цифры о добыче золота. Заметила Олимпиада Модестовна, как вышел от новой хозяйки доверенный, вытирая вспотевшие лоб и шею. Вспотел, сердешный, а уж он ли не мастер прятать концы, он ли не мастак обкручивать вокруг пальца…

Вызвонили часы шестой утренний час. Олимпиада Модестовна поднялась с кровати. Босая, дошла до окна, отдернула на нем шторку, и посинели перед ее глазами стекла в двойных рамах в пушистом инее. По синеве стекол поняла, что занялся рассвет, а по инею догадалась: ночная стужа не ослабла. Сама не зная почему, старуха внимательно оглядела спальню. Подойдя к печке, притронулась рукой к изразцам, но тотчас отдернула ее, и сразу стало старухе душно. Сняла с головы чепец, тряхнула головой, и рассыпались по плечам веером пряди седых волос. Взглянула Олимпиада Модестовна с тяжелым вздохом на иконы и громко сказала: «Помоги, Господи, грешной рабе Твоей обучиться под внучкину дудку выплясывать!»

Бродила старуха по горнице. Мягко ее босым ногам на медвежьих шкурах, звериный волос щекочет ступни, совсем как упругая весенняя трава-мурава.

Устала Олимпиада Модестовна от докучливых раздумий. Села в кресло возле печки и сразу вся отяжелела. Захотелось ей вытянуть ноги, закрыть глаза. Подумала, что, может, это пришел к ней запоздалый сон. Хотела встать, уже уперлась руками в мягкие подлокотники, чтобы дойти до кровати, но сил подняться не хватило, и она не встала…

Пробудилась Олимпиада Модестовна от чужого прерывистого дыхания над собой. Открыла глаза, не сразу узнала стоявшую перед ней служанку Ульяну. Не могла сообразить, почему девушка явилась в праздничном платье. Спросила встревожено:

– Что случилось?

– Чего скажу, хозяйка.

– К чему вырядилась?

– Молодая хозяйка велела по дому в праздничной лопатине ходить.

– Ишь ты! Ну раз велела, то ладно. Чего пришла сказать?

– Как подумаю, так прямо душе студено.

– О чем подумаешь?

– Да про то самое.

– Очнись, дуреха! Со сна, видать, очумела? Чем сон напугал?

– Явь напужала. Истинный Христос, явь!

– Ульяна! – прикрикнула на девушку старуха.

Девушка от крика хозяйки втянула голову в плечи, ожидая получить подзатыльник.

– Сказывай все начистоту, Ульяна!

– И скажу! Завсегда перед собой правду не утаиваю. То и скажу, что молодая хозяйка седни чуть свет поднялась. Стала по всему второму этажу прогуливаться. Вошла это она вместе со мной в парадную залу, оглядела ее, да и уставилась нахмуренным взглядом на царя с царицей на портретах.

– Ну? – нетерпеливо спросила старуха.

– Дале взяла она без единого слова бархатный стул, поднесла его к стене, на которой венценосцы висят, встала на бархат, не сняв башмаков, да и сняла с гвоздей сперва царицу, а после царя.

Слушая Ульяну, Олимпиада Модестовна торопливо перекрестилась. Следуя ее примеру, то же самое машинально сделала и служанка.

– Дале что?

– А дале? Чего дале? Велела мне молодая хозяйка принести снизу из твоего рабочего кабинету портреты отца с матерью, да и твой, на коем ты вовсе молоденькая.

– Так!

– Именно, что так! И опять собственными руками повесила отца на место царя, а матушку на место царицы.

– А меня?

– Тебя под имя повесила, чуть пониже. Гвоздь для тебя я сама вколотила.

Олимпиада Модестовна встала на ноги, зябко пошевелив плечами:

– Платок подай!

Ульяна подала хозяйке пуховый платок, а та, накинув его на плечи, спросила:

– Кто кроме тебя видел содеянное?

– Никто! Рань-то какая была!

– Я у тебя, Ульяна, правду дознаю?

– Никто!

– Слава богу! А ты – молчок! Поняла? Ничего не видела. Поняла?

– Чать, не без разума.

– Экое в доме творится. Ну, Софьюшка!

– Ума не приложу, чего это молодой хозяйке в царских портретах не поглянулось. Стекла на них чистые-чистые, потому к Рождеству сама по твоему наказу протирала.

– Не твоя забота про хозяйские дела думать. Ступай, стол к чаю готовь! Про содеянное в парадной зале – позабудь!

– Как велишь! Так я пошла?

Оставшись одна, Олимпиада Модестовна снова вслух высказала свои мысли:

– А ведь, истинный Христос, Софья с умишком. Ведь как политично со мной поступила. Портрет мой только чуть ниже родителей повесила. Может, милостив Господь, не оставит меня, грешную, в своем доме с сухой корочкой? Как не верти, а все равно Софьюшке бабушка по отцовской линии.

2

При полном безветрии снег падал густо крупными хлопьями. В церквях Саткинского завода отошла воскресная служба. Над селением гудели колокола.

В доме Сучковых готовили праздничный чайный стол. Олимпиада Модестовна от обедни вернулась раньше времени. У старухи после Херувимской начало ломить голову. Из собора домой привез ее Осип Дымкин на белой тройке в ковровой кошве. Пока собирали стол, ста-

руха позвала Дымкина и доверенного Калистрата Зайцева в малую гостиную, заставленную крашеными в зеленый цвет кадушками с фикусами и пальмами. Сидя в кресле, Олимпиада Модестовна нюхала из хрустального флакона ароматную соль. Сейчас она в богатом сарафане из бордового муарового шелка. В ушах старухи – бриллиантовые серьги. На груди рубиновой брошью приколоты серебристые кружева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.